

НАШ СОВРЕМЕННОК



ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал
ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

10 ОКТЯБРЬ
1 9 8 7

Главный редактор
С. В. ВИКУЛОВ

Редакционная
коллегия:

В. И. БЕЛОВ,
Ю. В. БОНДАРЕВ,
Г. И. БУЗМАКОВ
(зав. отделом очерка
и публицистики),
И. А. ВАСИЛЬЕВ,
В. Ф. ГРАЧЕВ
(зав. отделом прозы),
А. И. КАЗИНЦЕВ
(заместитель главного
редактора),
Г. Г. КАСЬМИН
(зав. отделом поэзии),
О. К. КОЖУХОВА,
А. Г. КУЗЬМИН,
С. М. ЛУКОНИН
(ответственный
секретарь),
И. И. ЛЯПИН,
Е. И. НОСОВ,
В. Г. РАСПУТИН,
В. М. СВИНИННИКОВ
(первый заместитель
главного редактора),
Г. В. СЕМЕНОВ,
Г. В. СЕРЕБРЯКОВ,
И. И. СТРЕЛКОВА,
П. П. ТАТАУРОВ
(зав. отделом критики),
Г. Н. ТРОПОЛЬСКИЙ,
О. А. ФОКИНА,
Л. А. ФРОЛОВ,
А. И. ХВАТОВ,
Н. Е. ШУНДИК.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

© «Наш современник» № 10

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- Иван **ВАСИЛЬЕВ**. ОБНОВЛЕНИЕ, или Хроника второго вступления
в наследство. Продолжение 3
- Виктор **АСТАФЬЕВ**. ЗАТЕСИ. Голубое поле под голубыми небесами.
Не запрягайте женщин в плуг. Унижение. Приветное слово 49
- Геннадий **СОЛОВЬЕВ**. ПРОИСШЕСТВИЕ В ЗНАМЕНКЕ. Рассказ 67

Из литературного наследия

- Александр **ЯШИН**. ДВА РАССКАЗА. Директива. Чистые руки.
Предисловие и публикация **Наталии Яшиной**. 74

ПОЭЗИЯ

- Ольга **ФОКИНА**. ВГЛЯДИСЬ В ВЫСОКОЕ, ЗАВИДНОЕ... Товарищу.
«Все болезни — от простуды!..» «Девятый десяток двадцатого
века...» «К экстрасенсам, к йогам прыгая...». «Что кому привя-
зочка...» 46
- Игорь **ЛЯПИН**. ИНОЮ БЫТЬ ДОРОГА НЕ МОГЛА. Молодость.
Тревожное. Родные песни. В окружающей среде. Идти
на выстрел 61

ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ.

- Владимир **БАЛАЧАН**. В тылу. У крылечка. Николай **ПОДЛЕСНОЗ**.
Победа 65
- Валентина **КОРОСТЕЛОВА**. СЕРДЦУ ДОРОГО. Люблю. Калинушка.
«Здесь соседи — люди гордые...». «Где встречала нас свет-
рябинушка...». Гreet и морозит 72

Из литературного наследия

- Василий **ФЕДОРОВ**. «Гремела битва...». В Ялте. Публикация **Л. Ф. Фе-
доровой**. 109

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Перестройка — движение вперед

- Владимир **КОЛОБОВ**. ЕСЛИ ТЕБЕ ПОВЕРЯТ... 110
- Борис **ЛАПЧЕНКО**. ОТ СТОЛА ИЛИ ОТ ПОЛЯ? 114
- Василий **КУКАРЦЕВ**. В ТЕМНОМ ЛЕСЕ. Записки охотоведа 134
- Куддус **ЛАТЫПОВ**. О чем поет курай... 145

КРИТИКА

70 лет Октября: советская классика

- Инна **РОСТОВЦЕВА**. «ВМЕСТЕ С БЕГОМ ВРЕМЕНИ...» Размышляя
о посмертной судьбе творчества Александра Твардовского 153

Культурное наследие и современность

- Вадим **КОЖИНОВ**. «МЫ МЕНЯЕМСЯ»? Полемические заметки
о культуре, жизни и «литдеятелях» 160
- Вячеслав **КОШЕЛЕВ**. КОММЕНТАРИЙ К ЦИТАТЕ 175
- Лев **БОБРОВ**. ОПАСНОСТЬ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ 180

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

- Мargarита **ЛОМУНОВА**. ГОРЬКИЙ УРОК 185
- Виктор **КОЧЕТКОВ**. ПЛОДНОСНОЕ ПОЛЕ ИСТОРИИ 186
- Олег **ВОЛКОВ**. Современные судьбы 189
- В. **КОВШОВ**. Этих лет не смолкнет слава 190

ДВА РАССКАЗА

Директива

Н АЗНАЧЕНИЕ на пост секретаря обкома Евгений Захарович Румянцев получал еще в те далекие времена, характер которых сказывается и поныне на многих сторонах нашей жизни. Тогда Румянцев впервые сидел в огромном кремлевском кабинете и с ужасом и восторгом смотрел на старого седоусого человека, смотрел ему под усы, на жесткий бритый подбородок, на дряблые щеки, на белоснежный подворотничок серого тончайшего кителя, но только не в глаза. В глаза этому человеку он смотреть боялся, хотя ни в чем никогда перед ним не был виноват.

Сколько еще человек присутствовало в это время в кабинете, Румянцев не знал и после не мог вспомнить никого, кроме двух, тоже больших людей в его глазах, — по крайней мере, по сравнению с ним и со всеми равными ему. Велик ли был кабинет — кажется, огромный! — сколько было столов в кабинете, сколько окон и какие они, дневной был свет или это сияло с такой силой электричество, — ничего не приметил и не запомнил Румянцев. Не смог.

Разговор шел о Румянцеве, но так, как будто самого Румянцева в кабинете не было. Собственно, это был даже не разговор. Суждения и мысли свои высказывал только один человек, Учитель, остальные слушали и смотрели в лицо и в рот говорящему. Старался ничего не пропустить и Румянцев.

— Горяч очень. Плохо это. Горяч потому, что молод. Зато молод! Это хорошо. Надо напоминать ему почаще: «Не горячись!»

Великий Учитель вдруг обратился непосредственно к Румянцеву:

— Сами себе напоминайте почаще: «Не горячись!»

Румянцев вздрогнул. До этого он сидел и выжидал, когда будет можно и должно и ему вставить в разговор что-то свое. Казалось, момент этот наступил, он вскочил и заявил:

— Вытяну область, даю слово!

Седой человек чуть улыбнулся в усы:

— Слышите, что он говорит: «Вытяну!»

— Вместе со всем народом вытяну! — поправился Румянцев.

— Вовремя поправился! Но еще не все правильно сказал. Не точно сказал.

Румянцев перепугался, что не сможет выдержать решающего экзамена.

— Вытянем вместе со всем народом! — почти по-солдатски отпартовал он.

— Вот сейчас правильно. Я же говорю, что горяч. Вы садитесь, настояться вы еще успеете.

Румянцев сел, руки и ноги у него дрожали, сердце замирало от страха и от радости, что нашелся-таки он сказать то, что нужно было.

— Думать надо больше и чаще, — продолжал Учитель. — И не спешить. Сказать что захотите — сначала подумайте, сделать — опять же подумайте. Не мешает! Народу служим.

— Вместе с народом будем думать! — с готовностью пообещал Румянцев, нащупывая главный ход мысли Учителя.

— И наедине думать не мешает! — заметил Учитель, начав раздражаться, что его перебивают. — Работать вам придется в трудных условиях. У вас там главное — деревня, колхозы. Надо дать полную свободу колхозной инициативе, но одновременно не выпускать вожжей из своих рук, — вы меня слушаете? — ни в чем не допускать стихийности. Все стороны жизни надо взять под свой неослабный партийный контроль. Это высший стиль руководства, к нему надо стремиться.

— Слушаю вас! — опять вскочил со стула Румянцев (кажется, он сидел на стуле?).

— Ну, по-моему, все. Можете идти.

Рукопожатие Учителя Румянцев запомнил на всю свою жизнь. Оно придало ему восторга и силы не меньше, чем все предыдущие наставления.

Выйдя из кабинета в сопровождении каких-то людей, Румянцев увидел в дальнем коридоре кожаный диван и с ходу грохнулся на него, чтобы дать успокоиться сердцу. Но посидеть ему не дали, кто-то сказал на ухо только одно жесткое слово: «Проходите!» — и он поспешно двинулся дальше. Сердцебиение все усиливалось, ноги его дрожали и слабели, и, еще не покинув Кремля, он каким-то образом оказался в руках врачей. В медпункте его уложили на койку, дали валидол, сделали ему укол камфары, а он все улыбался и что-то бурчал себе под нос, вроде как песню пел.

— Рановато сердце пошаливать начало! — сказал врач.

— Пускай шалит, — почти захлебываясь от волнения, ответил Румянцев. — Это от радости, не от печали. Я был там. У Него.

С той поры врачи признавали у Румянцева порок сердца, хотя он еще только начинал работать.

* * *

Давно это было, очень давно. А сегодня вот припомнилось все и не выходило из головы. И почему-то именно эта встреча не выходила из головы. Евгений Захарович уже по-новому относился и к Учителю, и к себе, и в какой-то степени ко всем людям, многое узнал с той поры, многое пережил и даже по-своему перестрадал, но сколько бы дерево ни росло — корни его не меняются.

«Думать надо больше, думать! Не мешает!» — повторял он про себя и ходил по своему просторному кабинету, напомиравшему тот огромный кабинет, кремлевский, кабинет Учителя. Правда, ни на одной из стен портретов Учителя уже не висело, но сколь ни отрекайся от учителей своих, а они таки учителями были — они, а не кто другой.

Широкая и яркая ковровая дорожка протянулась от входа прямо к письменному столу Евгения Захаровича. Ходилось по ней легко и бесшумно. Стол для совещаний был сдвинут к глухой стене, противоположной окнам, а не примыкал непосредственно к письменному, как раньше, и это было новым в кабинете Румянцева. Из-за двойных массивных дверей, обитых звукоизоляционными материалами и дерматином, ни голоса, ни шуму из приемной не доносились в кабинет, и думать можно было неторопливо и без помех.

Румянцев только что провел заседание бюро, на котором оформили перемещение трех секретарей райкомов партии. Интересы дела требовали этого давно, а теперь, когда вознамерились и пообещали срочно вытянуть из прорыва несколько сельскохозяйственных районов, такое перемещение оказалось совершенно необходимым. Все на это смотрели как на перестановку генералов перед наступлением. Были у Евгения Захаровича в руках три районных секретаря, которыми он время от времени торопил самые слабые участки. Еще ни разу эти трое не подвели его. Темпераментные, с боевой репутацией, умеющие поднимать и воодушевлять актив, не боящиеся рисковать, они перебрасывались по

мере нужды из района в район, и одно появление кого-нибудь из них на новом месте уже будоражило людей.

— Ну, сейчас держись, этот даст жару! — с восторгом и с некоторым страхом говорили при этом в городе и в деревнях все, кто так или иначе был знаком с фамилией нового секретаря. — Этот вытянет!

Очередная перестановка сил прошла успешно, все трое получили новые назначения. Но впервые один из них, а именно Твердохлебов, неожиданно для Евгения Захаровича начал возражать. Твердохлебов работал в своем районе уже два года и за это время многого смог добиться. Кривые экономических показателей и по животноводству и по урожайности льна, даже по зерновым явно полезли вверх. Что ни говорите, а показатели остаются показателями, без них никуда не денешься, ни доклада не сделаешь, ни отчета не составишь. Евгений Захарович в силу разных обстоятельств также иногда вынужден был судить о жизни и о людях по цифрам. Район Твердохлебова быстро начал выходить в передовую шеренгу, и сейчас его спокойно можно было перебросить на самый слабый участок. А он стал ссылаться на то, что дети привыкли к школе и к преподавателям своим, что у жены интересная работа и дружный коллектив, который она ни за что не согласится покидать, что сам он, по всей видимости, начал стареть, устает очень, а там, где он сейчас живет, большие сосновые боры, смолистый воздух, и прочее и прочее...

— Что-то я вас не понимаю! — сказал Евгений Захарович, спокойно выслушав все возражения Твердохлебова. — Дети же все равно не останутся без вас. И как может жена ни за что не согласиться сменить работу и перейти из одного дружного коллектива в другой дружный коллектив? Разве она не ваша жена? Почему вы до сих пор ничего не рассказали ей о долге коммуниста, о самом святом, что есть в нашей жизни? Или я это должен сделать за вас? Что же касается старости вашей лично, то считайте, что этого разговора между нами не было. Я ничего не слышал. Когда вы состаритесь, вам об этом скажут, а до той поры усталости и старости для вас не должно существовать. Последние цифровые данные также не говорят о том, что вы стареете: район ваш успешно выполняет и перевыполняет все основные задания по дальнейшему подъему... Вы — солдат партии, а она знает, как расставлять свои силы, кого куда посылать. Вам поручается новый участок, вы обязаны сделать все, чтобы с честью выполнить ее поручение. Убеждать я вас, что ли, должен?

Твердохлебов все еще не сдавался. Тогда Евгений Захарович нажал более решительно, о чем сейчас и вспоминал с некоторым неудовольствием, шагая по мягкому ковру. Нет, кулаком по столу он не стучал. До этого в его отношениях с секретарями райкомов или другими ответственными работниками области дело никогда не доходило. Не требовалось этого никогда, народ знал дисциплину. Достаточно было, наоборот, замолчать, сделать паузу, выдержать паузу да посмотреть попристальнее в глаза строптивого — и все становилось на свое место. Собственно, так он поступил и на этот раз. Твердохлебов сразу перестал говорить, поднялся с кресла, вытянулся действительно по-солдатски и тихо заявил, словно признал, наконец, все обвинения, выдвинутые против него, правильными:

— Я согласен с вами, Евгений Захарович!

Румянцев продолжал молчать и смотреть в глаза Твердохлебову, в ответе этом его что-то не устраивало.

— То есть как «согласен»?

— Посылайте, Евгений Захарович. Все будет сделано, сил не пожалею.

— То есть вы подчиняетесь решению партии?

— Так точно, подчиняюсь!

Взгляд Румянцева стал еще более напряженным, острым, и Твердох-

хлебов понял, что сейчас он действительно провинился: он сказал не так, как следует говорить в подобных случаях.

— Я вас слушаю! — Руки Румянцева легли на стол, голова склонилась вперед, седоватые волосы упали на лоб; сейчас он поднимется с кресла и встанет перед Твердохлебовым во весь свой рост.

Твердохлебов заторопился, подыскивая нужные слова:

— Постараюсь сделать все, что от меня требует партия. Я понимаю обстановку, я, Евгений Захарович, буду...

— Ну? — настаивал на своем Румянцев, медленно поднимаясь над столом и решив во что бы то ни стало соблюсти строгость до конца. — Ну?

И Твердохлебов понял все и вспомнил необходимые слова, которых от него ждал Румянцев.

— Благодарю вас за доверие, Евгений Захарович. Я оправдаю доверие партии и народа.

— Вот так! — сразу обмяк Румянцев и снова опустился в кресло. Он был по характеру своему человеком добрым и сердечным, но качества эти иногда сам принимал за мягкотелость, предосудительную для партийного руководителя и воспитателя, и потому всячески сдерживал их проявление. Что поделаешь, ошибки и заблуждения бывают у всех людей.

А теперь он ходил по кабинету и нервничал: не слишком ли торопливо решил вопрос о Твердохлебове, не погорячился ли? Ходил и повторял про себя: «Думать надо больше, думать».

«Партия учит нас сдержанности в работе с людьми, — думал он, — осторожности, чуткости. Не похоже, чтобы я был чуток на этот раз. «Убеждать я вас должен, что ли?» А почему бы и не убеждать? Почему бы? Работа с людьми и есть убеждение их. Долг-то долг, но и с желанием человека считаться надо. Свобода есть осознанная необходимость, так вот и надо добиваться, чтобы эта необходимость для человека в любых случаях была осознанной. Разъяснять надо, чтобы каждый солдат знал свой маневр. Легче всего приказывать, требовать, обязывать, но это же не главное в партийном руководстве. Сочетание чувства долга, сознательности и страсти — вот что порождает энтузиазм. А сделал ли я все, чтобы вызвать энтузиазм в душе Твердохлебова перед отправкой его на новое место? Не сделал. А человека на фронт отправил, в наступление послал. Во время войны в таких случаях даже сто грамм давали, не боялись и не жалели. А я что: «Кругом, арш» — и все? Я даже о семье, о ребятишках, о жене его ничего не спросил. Про здоровье он что-то заговорил, я не выслушал его. До моего сознания не дошло даже, что он на здоровье жалуется. Нажал кнопку, и все тут. «Думать надо больше, думать надо!»

У Евгения Захаровича Румянцева были очень густые брови, напоминавшие раскинутые крылья тетерева на току. Некогда иссиня-черные, теперь они заметно поседели, побелели — те же тетеревиные крылья, только вывернутые наизнанку. Рост и вся фигура Румянцева производили впечатление мощи, больших запасов сил и прочности. Он был под стать своему просторному кабинету, с массивными кожаными диваном и креслами, про него никто бы не сказал, что он здесь не на своем месте. Считается, что такие ширококостные и сильные люди весьма добродушны, мягкосердечны. Было все это у Евгения Захаровича — и мягкосердечие, и добродушие. Но была в нем и суровость, и строгость, и резкость, и многое другое, без чего этот большой кабинет давно бы уже оказался ему не по плечу. Люди, работающие с ним в течение многих лет, знали времена, часы, минуты, когда он преображался совершенно и от его добродушия не оставалось ничего, и вспоминали такие времена неохотно, с тайным содроганием. Гораздо больше нравился всем Евгений Захарович, когда все шло хорошо, работа ладилась, сводки, поступающие из районов, не тревожили и не раздражали, и он

был весел, обаятелен и на людях и дома, в своей семье, и глаза его улыбались и сулили всем счастье, и брови играли что крылья в полете. Даже удивительно, как могло все в нем так преображаться в зависимости от обстоятельств и настроения, удивительно, каким он бывал в глазах окружающих разным, не похожим один на другого, на самого себя, сегодняшним на вчерашнего. А разве могло быть иначе? Разве без такой широты и многогранности натуры, характера, поведения, мог он так долго быть на своем месте?

Румянцев взглянул на часы: рабочий день кончился давно, кончился по времени, но если судить по оставшейся незавершенной работе, то день этот мог не кончиться вовсе: на столе с обеих сторон кресла лежали стопки бумаг, сводок, которые нужно было просматривать; на листке перекидного календаря с водяными знаками остались заметки, не перечеркнутые—значит, он не успел по ним принять решения, и не перечеркнутые номера телефонов — не успел по ним позвонить. Так бывает обычно в те дни, когда созывались заседания бюро либо какие-нибудь другие дневные заседания и совещания: текучка остается незавершенной.

Свет в широких окнах начал меркнуть.

Румянцев подошел к своему креслу, нажал одну из кнопок снизу стола. Тотчас появилась секретарша, глядя на него вопросительно, без слов.

— Вы еще не ушли, Мария Ивановна? — приветливо обратился он к ней.

— И вы не ушли, Евгений Захарович.

— Но рабочий день давно кончился, идите домой.

— Хорошо, Евгений Захарович!

— Скажите, Твердохлебов сразу ушел?

Мария Ивановна, казалось, все понимала, о чем ее спрашивали и не спрашивали:

— Да, сразу. Он попрощался со мной, но больше ни о чем не говорил, ничем не интересовался.

— Так. Надо немного задержать его. Выясните сейчас же, есть ли возможность вручить ему немедленно, до отъезда в район, готовую санаторную путевку.

— Куда путевку?

— Лучше недалнюю.

— Есть в подмосковный санаторий ЦК.

— Оформите сейчас же, выдайте ему.

— Возражать не будет?

— Не должен.

— Будет сделано.

— Как сделаете, немедленно идите домой.

— Спасибо, Евгений Захарович.

Машина ждала у подъезда, Румянцев сел сзади и сказал только:

— На дачу!

В его распоряжении был новенький «ЗИМ», но вот уже несколько лет как пришел он из Москвы новеньким, так новеньким и оставался. Румянцев не пользовался «ЗИМом», потому что не хотел выделяться, обращать на себя внимание, а главным образом потому, что по областным дорогам можно было ездить лишь на «Победе», а еще лучше на «ГАЗ-72» — «Победе» с двумя ведущими осями, да на «ГАЗ-69». Сверкающий черный «ЗИМ» выводили из обкомовского гаража, из специально предназначенного для него отделения, как застоявшегося породистого коня из стойла, только в тех случаях, когда в область прибывали какие-нибудь высокопоставленные уполномоченные. Такой же «ЗИМ» одновременно был дан и председателю облисполкома, второму лицу в области, но той машиной пользовались постоянно (главным образом в пределах города) не только сам председатель и все его заме-

стителю, а даже заведующие отделами, и потому выглядела она уже старой, облезлой, обшарпанной, наподобие старых городских хибар и тротуаров.

Путь в дачный городок был асфальтированным, и шофер Лева давно думал о том, что неплохо бы хоть на дачу брать «ЗИМ»: машине тоже время от времени требуется разминка, без работы она старится еще больше, хотя с виду и остается гладенькой. Сейчас он об этом решил сказать:

— На дачу я буду подавать «ЗИМ», Евгений Захарович. Зря ржавеет машина, лошадиные силы слабеют.

— Ни к чему, — ответил Румянцев, — пусть стоит.

«Победа» поскрипывала даже на ровном шоссе. Пересекли железную дорогу, старый будочник на переезде издали козырнул знакомой машине; пронеслись мимо рычащих корпусов паровозоремонтного завода, мимо красных многоэтажных зданий нового рабочего поселка. Заметно стало смеркаться и здесь, за городом. Лева включил сначала подфарники, осветился плафон, спидометр показывал семидесятикилометровую скорость — и никакой тряски! Если бы с такой скоростью ехали по нормальной областной, даже хорошей дороге, то... Да что — то? Просто езда с такой скоростью по общим, обычным дорогам исключена. А машина все-таки поскрипывает. Значит, стара стала, уже перенапрягается. Есть же какие-то пределы и у машин. Есть так называемая усталость металла. Многотонные стальные балки вдруг лопаются и крошатся. И человек уставать может, и сломиться может, если не прислушиваться к его душевной настроенности. «Убеждать я тебя, что ли, должен?» — вспомнил опять Евгений Захарович свои собственные слова, и сам же снова ответил на них: «А почему бы и не убеждать!»

Румянцев закрыл глаза, чтобы отдохнуть по дороге, но мысли его продолжали начатый между собой разговор — и все касательно Твердохлебова.

«Должно быть, живут еще во мне отголоски былой беспощадности, — думал он, — не так-то просто избавиться от старых привычек. Командовать, конечно, легче, чем руководить, чем доказывать и убеждать. А война кончилась, и давно пора перестать командовать. Пора, но это трудно, потому так и живучи старые методы руководства, потому так и боимся мы давать волю всяческой инициативе. То ли дело жесткие твердые планы сверху. Человек идет в них, как ракета летит в луче радиолокатора, направляемого с земли».

«Да, слышал бы он сегодня, как я разговаривал с Твердохлебовым, видел бы, как держался с ним, — мне спасибо не сказал бы», — решил Евгений Захарович, должно быть, имея в виду кого-то конкретно, и показалось ему, что это он произнес вслух. Он встрепенулся, открыл глаза. Лева ехал уже с включенным дальним светом — и сколько бы ни моргали ему фарами встречные ослепляемые машины, он не обращал на них никакого внимания. Причем так он поступал только тогда, когда вез первого. Наверно, и водители встречных автомашин уже научились понимать, в чем дело, поэтому, еще издали притушив огни, жались в сторону.

Замелькали темно-зеленые елочки по сторонам дороги, массивные, запретные для любого топора сосны — скоро! Яркий свет с ходу озарял то одно дерево, то другое, потом — целые группы деревьев сразу, словно бы выхватывая их и приближая, притягивая к себе. Появились яркobelые столбики по сторонам шоссе, чистенький мостик, тоже весь в белых столбиках, как в палисаднике, и вот уже массивные въездные ворота, через которые могут проходить не больше семи-восьми машин из всего областного центра.

Товарищи, имевшие право пользоваться дачами в этом закрытом городке, сами понимали, что это слишком громко, но тем не менее называли свои дачи правительственными. Удобств всевозможных здесь, дей-

ствительно, было немало: свой клуб, в нем кинозал, бильярдные, комнаты отдыха, буфет, были хорошо оборудованные и поддерживавшиеся всегда в полном порядке спортплощадки для волейбола, для баскетбола, для тенниса, специальная площадка для игры в городки с двумя бетонированными квадратами на зеленой лужайке и бревенчатыми стенками, задерживавшими разброс палок, был свой продовольственный магазин. И все среди высоких раскидистых сосен на высоком сухом косогоре, вокруг которого виляла и играла неглубокая, но многорыбная и вполне пригодная для купанья чистоструйная речка. Вот уж в нее-то ни один директор ни одного маленького ли, большого ли предприятия окрест не спустит ни ведерка сточных химических вод — посчастливилось реченьке!

* * *

Крупный шоколадный курцхаар носился по обкомовской дачной усадьбе, словно по свежим следам дичи. Уши его мотались на бегу, как широкие охотничьи рукавицы, слегка заправленные за кушак; длинные, как у породистого скакуна, ноги легко отделялись от земли, а обрубок хвоста непрерывно унизительно крутился.

— Монтан, Монтан! — слышался ребячий зов с разных сторон, и пес, замерев на мгновение, вскидывал красивую умную голову и летел то в один конец, то в другой. Ростом он был не ниже любого из своих малолетних друзей, но слушался их беспрекословно. Должно быть, он просто не знал, куда девать свою силушку богатырскую. Хочется же бегать, хлопать ушами, вертеть хвостом, кому-то подчиняться бездумно, безотчетно и смотреть на кого-то влюбленными собачьими глазами! А без этого что за жизнь?

Румянцев, выйдя из машины и хлопнув дверцей, тоже крикнул:

— Монтан!

Пес взвился, развернулся на своих легавых жилистых ходулях, сшиб какого-то мальчугана и бросился на крик взрослого человека с такой стремительностью, что, если бы Румянцев не укрылся поспешно за передок машины, он конечно бы сшиб и его. Больно ткнувшись с разбегу в лакированный бок автомобиля, Монтан извернулся и наконец ринулся на грудь хозяина. Задние ноги его напряжились, вытянулись, передние свободно легли на плечи человека — при желании Монтан мог бы легко и обнять его обеими лапами за шею.

— Молодец, молодец! Какой молодец! — хвалил его Румянцев за послушание и почесывал за ухом-лопухом, а Монтан, изловчаясь, то и дело лизал ему подбородок, губы, щеки. — Служи! Служи, старый черт! — поощрительно кричал секретарь.

Но Монтан служить не умел и потому только повизгивал и снова и снова лизал Румянцева в лицо. Достаточно было с него и этого: не дворянка же он все-таки, а континентальная легавая.

Монтан молод, но биография у него сложная и богатая, как у бывалого человека. Не хватало в его биографии только участия в охоте. Как это ни печально, а породистая легавая ни разу не бывала в настоящем лесу, на следу, ни разу не сделала своей знаменитой на весь мир стойки, когда она вся превращается в изваяние, вздрагивают только кожа да ноздри, да чуть шевелится хвостовой обрубок. Правда, она пыталась замирать перед курами, роющимися в мусоре, в чертополохе, но ни одна кура не выдерживала ее напряженного взгляда, срывалась с криком и убегала, тогда срывалась и легавая.

Родился Монтан в Москве и там же обеспечен постоянной паспортной пропиской. Местные специалисты-собаководы, познакомившись с его родословной, только ахали от восхищения и зависти: медали, медали, медали, чистойшей кровью по обоим линиям.

Золотые медали звенели даже в его иностранном, не всем понятном имени. Монтаном называли пса в честь популярного французского эстрад-

ного певца Ива Монтана, ошастливившего Москву своим приездом как раз в дни, когда ошенилась благородная сука. В том же московском доме и в те же знаменательные дни кошка родила пятерых слепых котят, одного из которых, женского пола, назвали Симоной, в честь популярной жены Ива Монтана. Об этом торжественном акте было сообщено двумя поздравительными телеграммами уже во Францию — Иву Монтану и Симоне Синьоре. От Монтана была получена ответная телеграмма с благодарностью за оказанные ему честь и доверие. Симона же не ответила, вероятно, потому, что за это время успела выйти замуж за другого знаменитого мужчину.

Во вторую весну своей жизни Монтан должен был пройти натаску в полевых условиях, но весной в Подмоскowie сделать это оказалось невозможным, и хозяин взял его, совершенно необразованного, с собой в командировку в лесную область. Но в областном центре держать собаку в номере гостиницы не разрешили, и хозяину пришлось отдать ее на платное содержание случайным людям. Командировка затянулась, Монтан был вручен на обучение местному охотнику. Половину командировочных средств пожирала собака, а обучения она так и не дождалась. Время ее уходило. Отчаявшийся хозяин, уезжая из области, подарил Монтана секретарю обкома.

— Спасибо! — сказал Румянцев. — Собака — не нож, от такого подарка не отказываются. Придется приобщаться к охоте.

Но приобщиться к охоте он не смог, времени для этого не хватало, да и стеснялся и побаивался: хозяйственные дела в области шли неважно, как бы не упрекнул кто-нибудь, что вот, дескать, секретари птичек стреляют, а кругом неразбериха, планы не выполняются.

И Монтан остался на попечении ребятишек. Природные способности его притупились, охотничьи инстинкты постепенно заглохли. Вырос пес большой, а на всю жизнь остался не у дел.

«Дикая собака! — говорили теперь про него охотники с глубоким сожалением. — Разве что кровь еще не испортилась, потомство может дать, и ничего больше».

«Да и потомство, того гляди, хромать начнет. Я свою выжловку ему не доверил бы ни за что».

«Загубили собаку, ничего не скажешь. Не приспособили к жизни».

«Это и не с собаками случается!»

— Служи, длинный черт, служи! — требовал Евгений Захарович от Монтана, и тот до отказа вытягивался на своих ходулях по вертикали и лизал его лицо и повизгивал — единственное, чем мог ответить на ласку и внимание высокого хозяина. Стоять на задних лапах без опоры, как это делают всевозможные дворняжки и комнатные приживалки, он не мог при всем своем желании: порода не та. Но Евгений Захарович, собственно, и не требовал от Монтана ничего невозможного, к собаке своей он был добр, несмотря на внешне суровые слова.

* * *

Виолетта Макаровна, жена Румянцева, не менее могучая, чем сам он, только моложе, без намека на седину, ждала его. Стол для ужина был накрыт на застекленной веранде второго этажа. Подавала единственная на даче горничная, она же и повариха — Кланыя.

Евгений Захарович сидел за столом и думал все о том же: ломать налаженный быт, конечно, нелегко. Вот если бы его самого сейчас перевели на какое-то другое место, как было бы трудно сразу отрешиться от всего уже устоявшегося за многие годы и начинать, по существу, всю жизнь сначала. Правда, все это было бы смягчено, если бы перевод был связан с такой переменной в жизни, как... ну, скажем, если бы его назначили секретарем ЦК какой-нибудь братской республики... А перевод секретаря райкома с места на место, собственно, ведь ничего не меняет:

был секретарь и остается секретарь — райком а. Разве что станет ему еще труднее, чем было. И не только быт своей семьи надо налаживать заново, но и всю жизнь в районе переиначивать, ломать и строить на каких-то новых началах. Трудная жизнь у секретарей райкомов, ох трудная! И наверно, никто как следует не представляет себе, насколько она тяжела и трудна — ни население районов, ни даже мы, те, кто переставляет райкомовских секретарей, как шахматные фигуры... И горе нам, если мы не побеспокоимся при этом о человеке.

— Что с тобой, Женя? — встревоженно спросила Виолетта Макаровна.

— Что?

— Не ешь.

— Ничего особенного.

— Ничего особенного?

— Ну да!

— Значит, как обычно, просто устал?

— Да, пожалуй, как обычно. Только вот все чаще начинаю впадать в сентиментальность.

Виолетта Макаровна помолчала, подумала, всматриваясь в него, и, наверно, поняла не меньше из его переживаний, чем сам он.

— Обидел кого-нибудь опять?

— Здорово ты овладела этой техникой психоанализа! — удивился Евгений Захарович. — Что значит — профессия!

— Быть двадцать пять лет женой — тоже становится профессией.

— Женой такого, как я? — Он уже готов был обидеться.

— А разве тут есть что-нибудь обидное для тебя? Да, такого, как ты! И не легкая профессия!

— В общем-то, Виолка, ты всегда права.

— Ладно, кушай!

— С удовольствием поем. Дай-ка бокальчик сухого.

— Тебе сегодня не работать?

— Разве еще мало с меня?

— А говоришь, обидел кого-то?

— Это не я, а ты сказала. Впрочем, я уже исправил ошибку, насколько можно было: дал ему путевку в санаторий.

Виолетта Макаровна опять задумалась:

— Ты говоришь о Твердохлебове?

— Точно. Он долго отказывался ехать в Залесье.

— И ты нажал?

— В нашем деле нельзя без этого, Елочка, сама понимаешь.

— А если бы он продолжал упорствовать?

— Незаменимых людей нет.

— А ведь неправда это, Женя! — вскинулась Виолетта Макаровна. Казалось, что эта фраза коснулась каких-то больных струн в ее душе, и они загудели сразу. Ей уже давно было ясно, что это неправда, но вот только сейчас осозналось с такой очевидностью.

— Что значит неправда, коли это сама жизнь, — возразил Евгений Захарович. — Да и не мною это сказано.

— Вот-вот, именно, поэтому-то мы и не задумывались над этой формулой, приняв ее на веру всю, как есть. То же самое с «винтиками», с «болтиками», с «гаечками», с делением людей на «простых» и каких-то «непростых». Человек есть человек, а не винтик и не гайка. И каждый человек неповторим и незаменим. Уйдет человек из жизни, и останется свободным его служебное место, место это не будет пустовать — в этом смысле нет людей незаменимых. Но сам-то человек неповторим во всех своих проявлениях, и если он уходит из жизни, то уж навсегда, и никто никогда не сможет его, такого, — именно такого! — ни повторить, то есть воспроизвести, ни заменить. Всякие противоположные суждения и формулировки направлены лишь на оправдание бесчело-

вечного отношения к людям, они не гуманны, не демократичны. Умирает жена, мужчина женится на другой, это будет тоже жена, но это уже будет совсем другой человек, другая жена, и опять же не винтик и не гайка.

Евгений Захарович после супа налил второй бокал вина и залпом выпил его.

— Не надо, Женя! — забеспокоилась Виолетта Макаровна и отставила бутылку в сторону.

— А ты не отвлекайся, говори. Ты говоришь очень правильные вещи. Собственно, об этом же самом заставил меня задуматься и Твердохлебов. Ехал я сюда и твердил себе: не горячись! не горячись! Ты словно услышала меня.

Виолетта Макаровна опять на минуту сосредоточилась на какой-то своей мысли и спросила:

— Как же с Твердохлебовым? Я ведь его знаю, он сам человек горячий.

— Ничего, этот справится.

— Ты считаешь, что успокоил его путевкой?

— Он жаловался на здоровье.

— Здоровье здоровьем, а если у человека отбить охоту к работе, то и здоровье никакое не поможет.

— Не преувеличивай, Виолетта. Сознание выполненного долга тоже дает силы человеку и не мельчит его. Вот он не хотел переезжать, а взял себя в руки — и подчинился решению. Это по-солдатски, по-партийному. Это благородно. И человек вырастает в своих глазах. Не надо крайностей, Елка.

— Так-то так, родной мой, но не забывай, что за груз у тебя за спиной, какие нелегкие традиции в самих себе мы ныне преодолеваем. Ешь!

Евгений Захарович вдруг развеселился:

— У меня на родине, бывало, угощали так: «Кушайте, гости, кушайте, все проели, ничего не поговорили».

Виолетта Макаровна поддержала его:

— У нас иначе говорили: «Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами!» А ты как за стол, так и за разговоры. Кушай, пожалуйста!

— Да, таковы мы, пока пьем чай, все мировые проблемы решить должны. Что в мире ни делается — все касается русского мужика.

— Ну, остановись, пожалуйста, на этом. Не бери мужика в пример, какой уж ты мужик теперя!

* * *

Твердохлебов, приезжая в областной центр, в область — как принято было говорить, останавливался наравне со всеми секретарями райкомов в общежитии обкома. Это новое шестиэтажное здание, строгое, хотя и с допущением некоторых архитектурных украшений, с колоннами и эркерами, создавало впечатление мощи и независимости и являлось, конечно, лучшим во всем старинном деревянном городе. Основные помещения дома занимала межобластная школа подготовки партийных и советских кадров, по-старому — совпартшкола, а на двух этажах бокового крыла размещалось обкомовское общежитие. По обеим сторонам длинных коридоров, застланных ковровыми дорожками, тянулись стандартные комнаты, ничем не отличающиеся одна от другой, простенькие, но достаточно просторные, обставленные добротной мебелью и с ковриками на полу. В каждой комнате была прихожая с умывальником, один шкаф, один письменный стол, но кроватей две, хотя обычно в комнатах жило по одному человеку — помещений хватало на всех. Исключение составляли редкие недели в году, когда созывались пленумы обкома с привлечением к участию в них многочисленного колхозного актива или разные областные совещания и семинары. В этих

случаях общежитие набивалось до отказа. В такие дни здесь по вечерам было не только шумно и весело, но порой слышались даже звуки гармошки, особенно если на совещания съезжались секретари райкомов комсомола. Как правило же, в коридорах и комнатах стояла совершенно музейная тишина и охраняли ее по очереди дежурные: Люба и Шура, Маруся и Женя. Можно только удивляться скромности, с какой названа общежитием эта самая настоящая гостиница с индивидуальными номерами — лучше ее все равно не было в городе. Не могла с ней равняться по удобствам и масштабам даже знаменитая в прошлом купеческая гостиница «Золотой якорь», переименованная ныне в «Коммунальную».

Твердохлебов перед отъездом просматривал уже содержимое своего чемодана, когда в его комнату торопливо постучала дежурная Люба:

— Вас, Илья Ефимович! Срочно! К телефону! От товарища Румянцева!

Секретарша Румянцева, Мария Ивановна, попросила Твердохлебова отложить выезд и вернуться сейчас же в обком для оформления санаторной путевки на свое имя.

— Вот те на! — не сдержавшись, промолвил в трубку Илья Ефимович. — Прямо как на качелях — то вверх, то вниз. Голова закружиться может.

Курортной путевке Твердохлебов обрадовался очень. Главное, что тщеславие его было потешено: сам, первый, позаботился о нем! Сколь ни шумел, как ни строг был, а вот взял да и порадовал, наградил, можно сказать; значит, дорожит. А и верно: на кого же ему, первому, и опираться, если не на таких, как Твердохлебов. Да и есть ли еще такие, как он?..

В обкоме Твердохлебов задержался до начала киносеанса в лекционном зале, смотрел фильм, почти не улавливая, о чем, собственно, идет речь, потому что чувствовал себя уже курортником и все мысли его были сосредоточены на отъезде в санаторий. Сидел и торжествовал: конечно же ему цену знают! Уже третий район приходится ему тащить из болота. Похоже, стал он как бы специалистом по ликвидации прорывов, тараном. Неплохая репутация!

Тщеславие у Твердохлебова было немалое и требовало пищи постоянной. Он знал об этой своей слабости, но относился к ней снисходительно. Слабость ли это? Не являлось ли тщеславие одной из причин того, что он был неутомим, вездесущ, боевит? Любое упоминание его фамилии в газете, в докладах на областных пленумах и совещаниях будило его. Внимание к его работе и к его особе, проявленное кем-нибудь из вышестоящих руководящих работников, умножало его силы и веру в свою удачливость.

Сейчас, во время киносеанса, ему вспомнилось, как предыдущий секретарь обкома пригласил его, совсем тогда еще молодого инструктора обкома, к себе на городскую квартиру специально для просмотра американского фильма, не демонстрировавшегося на общих экранах, и как польщенный этим Твердохлебов сразу вырос в собственных глазах и показал такую активность в работе, что быстро вырос и в чужих глазах. Вот были времена! Первый секретарь имел зал для просмотра кинокартин у себя на дому, он не ходил не только в общегородские кинотеатры — об этом уж и говорить было нечего! — а даже в обкомовский кинозал. Он отгораживался от всех, от всего мира — и это считалось нормальным, естественным.

Побывав в те поры на квартире у первого, молодой и горячий Твердохлебов решил, что он сам будет первым, будет! И действительно, все стало совершаться так, как он задумал. Вскоре его послали секретарем райкома, правда, сначала не первым, но это был уже верный путь к заветной цели. Твердохлебов развил такую бурную деятельность, вникая во все стороны жизни района, так много ездил по колхозам и так

мало спал (да и то почти всегда не дома!), что уже через год на пленуме райкома его избрали первым секретарем — первым снизу, без подсказки, что особенно льстило Илье Ефимовичу. Избрание на пост первого секретаря райкома без предварительной рекомендации и санкции обкома имело не только плюсы, но и свои минусы. К счастью, на этот раз против кандидатуры Твердохлебова обком не возразил и минусов (на этот раз) не оказалось. Повезло Твердохлебову. В дальнейшем его судьбу решало только время и он сам. На себя он надеялся, а время...

Прошло уже много времени, много лет, все сроки, пожалуй, истекли, а он все еще переезжал из одного района в другой. Когда же это кончится наконец? Твердохлебову давно хотелось приложить свою творческую энергию к делам крупного масштаба, ему все чаще казалось, что он растрчивает свои силы по мелочам, что он мог бы принести партии и государству куда больше пользы, чем сейчас. Но время шло, а ничего не менялось. И Твердохлебов стал нервничать, обижаться на свою судьбу и уставать. Уставать и жаловаться. Поэтому предложение Румянцева переехать в новый район он сначала принял как полное и окончательное крушение своей большой мечты, своей судьбы. А как же еще можно было понять это иначе?

Но вот в разговоре с Румянцевым он услышал фразу, которая давала прямой ответ на все его сомнения и переживания.

— Судьба этого района, — сказал Евгений Захарович Румянцев, — определит и вашу судьбу. Подумайте об этом!

Подумать об этом? А как же можно об этом не думать? Все как будто становилось ясным. Значит, Евгений Захарович понимает его. Понимает! И посылает его на последнее испытание. После этого все, конечно, должно измениться. Не век же ему в девках сидеть, как говорил еще товарищ Сталин.

* * *

От железнодорожной станции до райцентра, куда должен был попасть Твердохлебов, что-то около ста пятидесяти километров. А вы попробуйте их пройти или проехать, тогда и счет будет совсем другой, и станете говорить уже не о километрах и не о количестве часов, а о количестве суток пути. Причем в зависимости от времени года счет будет меняться. Весной и осенью отмерять эти полтора ста километров легче пешком, чем на грузовике любой марки, любой проходимости. А бывают периоды, когда и пешком никто не рискнет, разве что демобилизованный солдат или молодой фабзавучник-отпускник, спешащий на недельку к матери на блины, которому каждый час дорог.

Десятилетия три, не меньше уже, ремонтируют этот тракт, и сейчас он стал окончательно непроезжим, хотя в атласе «Автомобильные дороги СССР» 19... года издания он значится дорогой государственного значения. Кстати, если верить этому Атласу, то можно проехать на автомашине не только из Ленинграда в Череповец, в Вологду, но даже из Вологды на Север, вплоть до Котласа и Сыктывкара, до Архангельска и Северодвинска. Вероятно, составители «Атласа автомобильных дорог СССР» имели в виду вертолеты.

Бедствие началось с той поры, как в этих местах появились первые колонны грузовиков. Пока ездили на лошадях — на санях и телегах, дороги не портились, колени были ровными, по краям их зеленела короткая и густая, как овечья шерсть после стрижки, травка с листиками подорожника, плотно прилегающими к земле. Такую траву на проезжих местах, на буграх так и называют зеленчиком. Вдоль канав, чаще всего по обе стороны их, тянулись узкие, хорошо утрамбованные, желтые, словно в парке, пешеходные и велосипедные тропинки. Деревянные мостки служили в ту пору подолгу, пока бревна не становились совершенно трухлявыми. Гужевого транспорт был медлительным, но надеж-

ным в смысле проходимости и обязательности — с каждой грузовой подводой обычно устраивались один-два пассажира с чемоданчиками. Трое суток — и вы обязательно попадали на железнодорожную станцию либо со станции в район — обязательно! Старая пословица оправдывалась: «Тише едешь — дальше будешь».

Рейсы первых грузовиков вызвали поголовный восторг. За четыре часа чудо-машина доставляла по пятнадцати и больше человек с любым количеством багажа из одного конца в другой. Плата была баснословно дешевой, мизерной, по сравнению с той, которую брали подводы, даже легковые. Находились охотники ездить взад-вперед просто ради удовольствия. Все славилі современную автомобильную технику.

Но вот начались хлебозаготовки, появились встречные планы; свежий хлеб, собранный осенью во многих районах, начали немедленно, не считаясь с непогодой, с дождями, вывозить на железнодорожную станцию. Первая же автоколонна за несколько рейсов разбила дорогу до неузнаваемости. Мелкий ельник по сторонам дороги вырубали и кидали под колеса, но глубина колеи росла с неимоверной быстротой, и елочки уже не спасали. Ранней весной, перед началом посевной кампании, выяснилось, что сеять в районах нечем. Тогда с железнодорожной станции, опять-таки в грязь, в дождь, стали возить семена. Кажется, это и называлось встречными перевозками. Под колеса кидали уже не сучки и еловые лапы, а целые деревья, бревна. Местами шоферы-великомученики сами делали настилы из жердей и бревен на десятки метров, только бы выбраться как-нибудь. В ход пошли сельские изгороди, расположенные по краям дороги, непосредственно в деревнях — заборы, дровяные кряжи. Наиболее тяжелые участки пути обрели новые собственные названия: «Ведьино болото», «Чертов омут», «Пронеси, господи!». В этих местах дни и ночи стоном стояло сквернословие. На задние колеса грузовиков стали надевать цепи, затем появились двойные задние скаты. Но этого оказалось недостаточно, земля уходила из-под колес. Тогда изобрели машины высокой проходимости, с двумя дифферами, то есть такие, у которых ведущими являлись обе оси — задняя и передняя. Все равно новенькие, с конвейера, грузовики через три-четыре рейса превращались в развалины, если не сваливались где-нибудь под откос, не тонули в болотной трясине, перевернувшись с моста.

Каждое ржаное зернышко становилось золотым для государства. Одни перевозки хлеба взад-вперед во много раз превышали его себестоимость. Бессмысленно разрушались машины, зря жгли бензин, страдали люди, и уже поистине ни конному, ни пешему невозможно стало пробираться по этому злосчастному тракту. Если бы все средства, которые он поглощал, скажем, лет за пять, употребить в действительно плановом порядке не на текущий ничего не дающий ремонт, а на капитальное строительство дороги, все эти сто пятьдесят километров можно было бы залить бетоном.

Хорошо еще, что в последние годы хлеб, собранный в так называемой глубинке, перестали возить на железную дорогу, а ссыпали его в разные старые амбары, в бывшие церковные здания и гноили на месте. Это обходилось дешевле.

Навстречу Твердохлебову был выслан «газик» — «проходимец», как в шутку окрестили его шоферы. «Проходимец» не прошел и сотни километров, застрял. Сам Твердохлебов раздобыл на станции грузовик с двумя дифферами, но грузовик прошел километров пятнадцать и, не забираясь в «Ведьино болото», благоразумно повернул обратно. Тогда Илья Ефимович связался по телефону с самим Румянцевым, и через четыре часа после звонка вертолет взял его на борт, а еще через час высадил на окраине райцентра, почти на виду у всего райкомпарта: можно сказать, он с неба сошел. Даже работники райкома, поддаваясь общему настроению, вполуголос говорили друг другу:

— Ну, сейчас держись, этот даст жару!

Но когда «Победа» доставила Илью Ефимовича в райком и он, бойко простучав по деревянной крашеной лестнице на второй этаж, вошел в общую комнату и весело поздоровался со всеми, Шура Елызина, машинистка и заведующая общим отделом, удивленно шепнула подыавшемуся с ней рядом инструктору Тетеркиной:

— А ведь он маленький!

Тетеркина поняла ее по-своему:

— Подожди, еще увидишь, развернется. Он себя покажет. Он под-
нял не один район.

Да, Твердохлебов Илья Ефимович производил впечатление человека совершенно юного и очень низкорослого, хотя был среднего роста и далеко не юн, лет сорок ему уже наверняка исполнилось. Моложе своих лет он, должно быть, казался из-за чрезвычайной подвижности, бойкости, и еще потому, что был светло-рыж с совершенно белым и чистым, как у девушки, лицом и без бровей, из-за чего карие резкие глаза его казались на белоснежном лице черными-черными и яркими настолько, что даже зрачков не было заметно. Брови, конечно, у Твердохлебова имелись, но, как часто случается у рыжих людей, они были такими белесыми, что вовсе не проглядывались. Моложавость Ильи Ефимовича подчеркивалась еще чрезмерной розовостью щек — вряд ли эта яркая розовость была здоровой.

Вбежал он в общую комнату, прихлопнул за собой дверь, весело крикнул: «Здравствуйте, товарищи, все сразу!» — и сдернул с головы кепку. Тогда все сразу отметили про себя, что у этого очень молодого на вид и бойкого товарища на светло-рыжей голове уже наметилась глянцеваья лысина — со лба шире, к затылку поуже.

Первый секретарь райкома (Твердохлебова еще нельзя было считать первым секретарем, его должен был еще утвердить пленум райкома, но и старого первого секретаря как-то неудобно было называть бывшим, потому что никто еще его не освобождал, хотя судьба его была уже решена, и об этом знал не только один район, а вся область), старый первый секретарь райкома смущенно распахнул дверь своего кабинета и пригласил туда нового первого секретаря:

— Заходите, Илья Ефимович. Прошу!

Твердохлебов дружелюбно подал ему руку, потряс ее и, словно боясь, что может выдернуть, придержал ее повыше локтя своей левой рукой. Затем он поздоровался за руку и со всеми остальными.

— Привет, привет! Ну, пошли, поговорим, знакомь со своими владениями. Извините, товарищи! — обратился он к тем, кто не должен был следовать за ним.

В кабинет вместе с двумя первыми секретарями прошли второй и третий секретари. Все они знали уже Твердохлебова в лицо. Должно быть, и он знал не только первого, своего предшественника.

Обитая клеенкой дверь в кабинет первого секретаря плотно захлопнулась. В общей комнате начались шепот, шумарканье, шмыганье носами и разговор при помощи одних глаз.

1961 г.

Чистые руки

Т

РИНАДЦАТЫЙ год работает Петр Петрович Дресвянин заместителем председателя райисполкома. В его послужном списке и партийной биографии факт этот выглядит весьма внушительно и сопровождается целым рядом лестных определений: бессменно, безупречно, добросовестно, исполнительно, без единого выговора... Тринадцать лет работы на одном посту — и ни единого выговора! Когда Дресвянин будет собирать справки и характеристики для получения пенсии, эти тринадцать безуп-

речных лет лягут на чашу райсобесовских весов и потянут очень тяжело. Еще удивительнее, что, прослужив тринадцать лет в одном и том же райисполкоме, Петр Петрович не нашёл себе по существу ни одного серьёзного врага.

Семь председателей райисполкома сменилось за это время, пять первых секретарей райкома партии и несчетное количество вторых и третьих, и никто из них ни разу не поругался как следует с Дресвяниным, не возненавидел его. Причина чуда кроется, конечно, отчасти в самой должности заместителя председателя райисполкома: он ни за что полностью не отвечает и власть в районе имеет еще меньшую, чем председатель. Ни один вожак колхоза не считает себя обязанным выполнять его руководящие указания, какими бы безобидными они ни были. Райисполкомовский конюх, пожалуй, подчинен ему, но шоферы легковушек уже оглядываются на самого председателя, прежде чем посадить в машину и отвезти куда-нибудь его первого заместителя. Но сам Дресвянин, конечно, считал, что держится на нем очень многое и нагрузку несет он не меньшую, чем председатель или даже любой секретарь райкома партии, хотя и не располагает для этого необходимой полнотой власти: просто на нем все выезжают из самых безвыходных положений. Но вряд ли он был прав. Известно: кому меньше дано, с того меньше и спрашивается. Вероятно, поэтому ни один областной ответственный уполномоченный, доходивший порой при ознакомлении с делами района до белого каления, не пытался снимать головы с плеч Петра Петровича. И свои, райкомовские ответственные работники, как бы им туго ни приходилось, сколько бы они между собой ни ругались, с Дресвяниным неизменно поддерживали добрососедские, беспринципные, как в шутку говорилось, отношения. Больше того, Петр Петрович часто мирил не в меру разгорячившихся и перессорившихся товарищей по аппарату, созывая их в нужное время, обычно вечером, к себе на квартиру на стакан водки, на чашку чая. Детей у него не было, трехкомнатная квартира позволяла собираться сразу всему высшему районному свету, в который входили три секретаря райкома, председатель и заместитель председателя исполкома, прокурор, иногда директор леспромхоза — все с женами. Хозяйка Дресвянина — Ксения Михайловна, женщина потрясающей прямолинейности в отношениях с людьми и резкости, напоминающей шизофрению, все же устраивала всех, потому что была, несмотря на скупость, одолевашую ее время от времени, гостеприимна, а грубоватое прямодушие ее казалось настолько необычным, неестественным, несовременным, что к нему никто не мог относиться всерьез. Обычно посмеются: «Ну, это ж Ксения Михайловна!», «Так, так его, Ксения Михайловна!», «Режьте правду-матку, Ксения Михайловна!» — посмеются, и тем дело и кончается.

Бывало, входит в дом прокурор, а Ксения Михайловна ему сразу:

— Вы что же это делаете? Опять человека закатали, а за какие грехи? Вас посадили блюсти советские законы, а вы обходите их!

— Здравствуйте, Ксения Михайловна! — говорит ей прокурор, уже начиная смеяться. — Вы бы хоть дали мне через порог ступить!

— Здравствуйте! — отвечает Ксения Михайловна. — Ступайте за порог, садитесь, пожалуйста! Вам, конечно, Дресвянин нужен? Все равно не дам сегодня водку пить. С чего бы это? Закачают человека и еще вспрыскивают!..

— Экая вы какая, Ксения Михайловна! — уже хохочет прокурор. — Вот ежели бы мне удалось вас закатать, вот тогда уж мы бы вспрыснули с вашим муженьком как следует. Когда у вас ревизия будет?

— Меня вам не посадить, не радуйтесь! Сколько лет я в торговле, а еще ни разу ни копейки не настояла.

Или, скажем, встречает Ксения Михайловна другого хорошего знакомого, и с ходу начинает журить — да нет, не журить, а разоблачать и изобличать его в мелких преступлениях против незыблемости семейных устоев:

— Вы, дорогой мой, подлец! Вы кот! Почему вам жена позволяет ночевать там, где не положено никакими командировками? Или у вас опять машина застряла, или горючего не хватило?

— Послушайте, откуда вы что взяли? — поначалу растерянно возражает ее ответственный знакомый. — Что вы можете знать?

— Одна жена ничего не знает, а все давно знают, где вас обычно подводит ваша техника. Ведь уж стариком скоро станете, песочек подметать за вами надо, а все за ум не возьметесь.

Оправившийся от внезапного нападения знакомый начинает посмеиваться:

— Вы, Ксения Михайловна, как всегда, в своем репертуаре. Знаете, в сказочке добрый молодец говорит Бабе Яге: сначала накорми, да баньку истопи, да спать положи, а потом уж спрашивай — кто, да куда, да зачем путь держу. Ни в чем я перед вами не виноват. Вы ошиблись: моя фамилия не Дресвянин. За своим мужем усмотреть не можете, а за других беретесь.

Ксения Михайловна делала вид, что не нервничает:

— На Дресвянина своего я уже рукой махнула. Он ни на что не годится. А ваша жена — дура, куда она глядит, о чем думает?

И опять в ответ на ее искреннее прямодушие раздается громкий хохот и только.

— На вас даже сердиться невозможно, Ксения Михайловна, удивительный вы человек: что на уме, то и на языке.

— А вы привыкли, чтобы все было шито-крыто. Очковтиратели вы все, вот что!

Тем не менее, когда Петр Петрович Дресвянин собирал гостей, к нему шли охотно: Ксения Михайловна выходила из любого положения — стол у нее всегда ломился от закусок, а в суденке на кухне, как в холодильнике, постоянно стояли про запас одна-две бутылочки белого. В подполье у Ксении Михайловны был оборудован курятник с постоянным электрическим освещением, и белые с желтым отливом леггорны ежедневно и круглогодично давали ей свежие крупные яйца. Впрочем, по примеру Ксении Михайловны, такие курятники с некоторых пор появились почти у всех жен районных служащих, только об этих курятниках почему-то не считалось удобным разговаривать даже друг с другом, они действительно были на положении подпольных. Не потому ли, что в это же время куры в колхозах неслись не дольше четырех месяцев в году и яйца были не крупнее голубиных, а колхозные птицефермы ликвидировались одна за другой под разными предлогами из-за явной нерентабельности их: после подытоживания всевозможных утечек и потерь из-за лисиц, коршунов и ворон в годовые колхозные отчеты попадало в некоторых случаях не больше пяти яиц на одну несушку.

На квартире Дресвяниных любили собираться вечерами еще и потому, что сам он был человеком компанейским, приветливым и, по мнению большинства районных знакомых, занимательным собеседником. Приветливый, незлобивый и как бы хорошо обтекаемый характер Петра Петровича при всех прочих обстоятельствах являлся, конечно, одной из важнейших причин того, что он просидел в своем заместительском кресле тринадцать лет, ни за что не отвечая и, по существу, ничего не делая, и не нажил себе никаких серьезных врагов. А главное достоинство Дресвянина заключалось в том, что он знал бесчисленное количество анекдотов старых и новых и по всякому поводу, к любому случаю мог рассказать подходящий анекдотец. Запоминание и записывание анекдотов, каламбуров стало главной его профессией, его страстью. Он охотился за всем новым, самым злободневным, что шло из области, из центра, сортировал все свеженькое и распределял по мере использования по циклам. «Что новенького привезли?» — спрашивал он доверительно вновь прибывшего в командировку областного работника, когда первоначальные официальные интонации в его голосе смягчались и исчезали, и первым выуживал у него самые послед-

ние, самые злободневные «поступления». Конечно же, Дресвянин при этом был осторожен. Многолетний опыт давал ему возможность безошибочно определять, к кому из приезжих можно обращаться с подобными вопросами, и выбирал для этого наиболее подходящий момент. К тому же приезжие товарищи, как правило, приезжали в район не в первый раз и уже знали о безобидной страсти Дресвянина. Они сами не прочь были послушать на досуге тот или иной цикл в его передаче: за каждое добавление к своим богатствам Петр Петрович охотно платил сторицей. Он не пренебрегал ничем новым, хотя часто все привезенное гостем для него оказывалось уже устаревшим, «бородатым».

— Что новенького слышно? — спрашивал он.

— Да вы же, наверно, все знаете? Разве вас чем-нибудь удивишь? Слышали, например, что мобилизованы все альпинисты страны?

— Интересно! Ну-ну?

— Поручено разобрать пик Сталина.

— Интересно. Это я слышал в другом варианте. А про надгробную плиту знаете?

— Нет.

— «Умер в 1953 году. Похоронен в 1961 году». Как?..

Политические анекдоты Петр Петрович рассказывал без придыхания, беззлобно, тактично смягчая их порой чрезмерную резкость и остроту, чтобы не вызывать у собеседников чувства неловкости. И все-таки часто переходил на шепот, особенно если анекдот носил характер сплетни.

Районному начальству приходится много времени проводить в машинах, ночевать в сельсоветах, в колхозных правлениях, даже на лесозаготовках, и на этот случай Дресвянин являлся лучшим партнером. По зимним ли, переметанным метелями проселочным дорогам, или по весенне-осенней распутице даже вездесущий «ГАЗ-69», который называют любовно «проходимцем», ползет медленно, крутя с одинаковой силой и задние и передние колеса, часто переходит на пониженные скорости с применением демультипликатора, и вот тут-то Петр Петрович и приходит на выручку. Память его неистощима, голос ровен, улыбочка видна даже в темноте.

— А ну-ка, Петр Петрович, любовный цикл, похлеще.

— Что ж, похлеще... это не от меня зависит. А вот, скажем, про женышень. Есть такой корень...

— А-ха-ха-ха! — уже заранее начинает покатываться нетерпеливый и благодарный слушатель.

— Теперь давай что-нибудь из детского цикла!

— Ну, хорошо. Вот так, скажем: сидит мальчонка у бабушки на коленях и спрашивает ее: «Бабуся, мосьно я тебя попугаю?» — «Попугай, внученька, попугай, миленький!» — соглашается бабушка. Мальчонка делает пальчиками рога и говорит бабушке: «Бу, забоду, старая потаскуха!»

Ксения Михайловна не выносила пристрастия своего мужа к анекдотам. Но особенно нетерпима была она к его любовному и детскому циклам. Круглые безбровые глаза ее округлялись еще больше, губы бледнели от негодования и презрения и поджимались, когда Петр Петрович начинал смешить людей в ее присутствии. На некоторое время она замирала, словно перед препятствием, переставала двигаться и молчала, соображая, как ей поступить на этот раз, затем, не считаясь ни с кем и ни с чем, выкладывала мужу все, что о нем думала.

— Какое счастье, что у меня нет от тебя детей. Вы только представьте себе, что бы они думали о своем отце! Грязное ты животное, Петр, вот ты кто! Подлец!

— Ну, поехала моя Ксения! — отшучивался Петр Петрович. — Тебя же все знают, какая ты есть, на тебя нельзя сердиться.

— А ты думаешь, тебя не знают, какой ты есть?

— Потерпи, потерпи, мать!

— Какая я тебе мать! Слава богу, что я тебе не мать, а то краснела бы каждый день за тебя.

— Давай иди, иди, готовь яичницу!

Но Ксения Михайловна уже не могла заниматься яичницей, пока не выговаривалась до конца.

— Неужели ты не понимаешь, что тебя только за твои анекдоты и на работе держат? Шут гороховый ты! Клоун! Тринадцать лет анекдотиками кормишься, да еще гордишься, думаешь, людям пользу приносишь. Вы только подумайте, — обращалась она неожиданно к присутствующим, словно не они просили Дресвянина рассказывать из детского цикла, — вы только подумайте, ведь он и на пенсию надеется. Похабными своими анекдотиками пенсию себе зарабатывает. И ведь получит! Обязательно получит. А как же — стаж!

— Ну что вы, Ксения Михайловна! — вступались за Дресвянина его сослуживцы, разговаривая с нею немного снисходительно. — Вы просто не цените его.

— А вы его цените?

Такой случай Петр Петрович считал подходящим, чтобы, никого не обидев, заявить наконец при всех и при жене своей, какое место он, по его понятиям, занимает в жизни и на работе. При этом он позволял себе даже покричать немного.

— Слушай ты, мельничное колесо! Чего шумишь без толку, зачем окоlesiцу несешь? Да я больше полжизни в машине провожу. Часто ли я дома ночую?

— Ишь чем хвастаться начал! — успевала вставить Ксения Михайловна.

Но Дресвянин не обращал внимания на ее реплику, как бы не слышал ее, и продолжал:

— Ты же не понимаешь элементарных вещей в нашей системе. Что такое аппарат? Аппарат — это прежде всего заместители. Вся организаторская работа, исполнение, проверка исполнения лежат на их плечах. И власть исполнительская в руках заместителей. Слыхала ли ты: институт заместителей? Ин-сти-тут! Это тебе не торговля школьными принадлежностями, пеналами, да перьями, да ручками. Ин-сти-тут! Руководитель без заместителей — это еще не механизм, это ноль без палочки. Я, конечно, сейчас говорю вообще, не о нас! — воровато оглядывался Дресвянин: дескать, уж извините, приходится воевать с женой, а чтобы поставить ее на свое место — любые средства приемлемы. — Я вообще говорю. Но разве ты можешь понять это, торговая точка? Заместители руководителя учреждения — это уже народ, это живая жизнь, власть и исполнение власти. Руководителя может не быть, он может отсутствовать или только значиться, он может уезжать, приезжать, уходить, приходить, жить полгода на курорте, лечить свою гипертонию. А первый заместитель — это все! Его не может не быть. Он должен быть всегда и везде, иначе без него ничего не будет. Первый заместитель — это и первый кандидат на место руководителя.

Ксения Михайловна, совершенно оглушенная потоком красноречия мужа, стоявшая с чуть приоткрытым ртом и смотревшая на него почти с обожанием и восторгом, вдруг оживала и снова кидалась в атаку:

— Что же ты тринадцать лет в кандидатах ходишь, коли ты первый?

Но это была уже такая бестактность, такая шизофреническая простота, которая хуже воровства, что все сослуживцы Дресвянина морщились и сам он морщился и боязливо оглядывался вокруг.

— Топор ты, вот что! Грубая работа! Даже не топор, а колун. Неси яичницу, занимайся своим делом.

Несмотря на такие семейные сцены в доме Дресвяниных, товарищи считают, что супруги влюблены друг в друга, жить друг без друга

не могут, и что особенно влюблена в своего мужа Ксения Михайловна, и грубоватость ее идет от чрезмерной влюбленности, не больше: нельзя же, дескать, в ее возрасте показывать, что она все еще, как девочка, молится на своего обожаемого Петра Петровича.

* * *

После литературного вечера, на котором председательствовал Петр Петрович Дресвянин и, поочередно представляя местных начинающих поэтов и прозаиков, много шутил и к случаю рассказывал весьма остроумные анекдоты на литературные темы, так что в зале Дома культуры постоянно стоял смех и уже перестали слушать и стихи и рассказы, а ждали, когда снова заговорит сам Дресвянин,— после этого вечера к нему робко подошла молодая женщина в ватнике, в простенькой ситцевой юбке и крестьянском платочке на голове и, оглянувшись вокруг, словно боясь, что ее кто-то подслушает, заговорила:

— Можно мне... к вам... можно мне?

— Что можно? — спросил Дресвянин, весело осматривая ее, молоденькую, с ног до головы, все еще нравясь себе самому и находясь под впечатлением шумного успеха у публики, когда кажется, что и другие все без исключения тебя обожают и все тебе доступно.

В свое время Дресвянин сам мечтал о литературной славе, пописывая кое-что, да и сейчас зарабатывал иногда в районной газете трешник на бутылку водки разными рифмованными подписями под сатирическими рисунками пресс-клише, но годы все перемололи, в том числе и юношеские мечты и судьбу его, и он удовлетворял теперь свою не перегоревшую любовь к славе интимным успехом в кругу друзей, рассказыванием анекдотов да изредка шуточками со сцены районного Дома культуры, вызывавшими шумное ликование неприхотливой аудитории.

— Мне хотелось рассказать вам про себя все, как на исповеди... можно ведь... очень прошу... — сказала женщина, робея все сильнее.

— Почему именно мне? Я не поп.

— Вы так хорошо сегодня говорили: сердечно, не обидно. У вас душа... Мне по душам надо, не в кабинете...

Дресвянин самодовольно ослабил и тоже оглянулся вокруг, боясь, что эту его самодовольную улыбку увидят другие и поймут ее. Но у женщины на глазах появились слезы, и он мгновенно посерьезнел.

— Ну что ж, можно... Но завтра я занят. На днях как-нибудь. А где, собственно? Почему я вас не припомню, где вы работаете?

— Ну как же? — удивилась женщина. — Я же на складе. Помните, я еще для вас гречку доставала? Как же...

Дресвянин оглянулся вокруг опять.

— У меня еще муж пьяница, работал при Доме пионеров. Помните? — И глаза женщины засияли надеждой, слезы мгновенно высохли.

— Да, да, все помню, — сказал Дресвянин, внимательно всматриваясь в ее порозовевшее лицо. — Муж теперь сидит?

— Вот, вот, сидит. Он уже второй раз сидит! — с готовностью призналась женщина, словно это никак не могло считаться зазорным.

А Дресвянин, вспомнив и узнав женщину, сразу перешел на «ты».

— Ладно, потом расскажешь все. Как тебя — я забыл?

— Надя я. Надежда Лямзина, помните?

— Да, да, все помню. Ты приходила как-то, жаловалась на своего мужика. Выгонял он тебя на улицу, бил, кажется?

Лямзина смутилась:

— Все случилось, только жаловалась, пока он был со мной, а как не стало его, так ни на что не жалею. Он ведь и раньше нехорош был только, когда напьется, а трезвый — он человек как человек.

— Ладно, потом! — сказал Петр Петрович и еще раз оценивающе осмотрел ее с ног до головы. — Живешь-то где?

— Да все там же... в большом этом доме, где, помните, жила эта...

— Лямзина озорно сверкнула глазами и потупилась. — У меня и ход свой, особый...

Через два дня Дресвянин постучался вечером к Наде. На первый раз из осторожности он пришел к ней не один, а с приезжим приятелем, счетоводом, который боготворил его со школьной скамьи и, живя не в городе, а в дальнем селе, навещал время от времени, чтобы, как он говорил, не отставать от культурной жизни. Приятель был самым большим любителем анекдотов из детского цикла, а также скабрёзных про любовь. На него можно было положиться при любых обстоятельствах.

На тихий стук в дверь ответа не последовало. Тогда Дресвянин зашел за угол дома и, убедившись, что в нужной комнате есть свет, забрался в снег и так же тихо постучал несколько раз в окно. В комнате началось движение, кажется, скрипнула кровать, приподнялась занавеска, и к стеклу прильнуло заспанное лицо Нади Лямзиной. Увидеть в темноте она никого не смогла, потому кинулась к двери и испуганно спросила:

— Кто там?

— Свои, свои! — негромко ответил Дресвянин, отряхивая снег с валенок.

Лямзина, узнав его по голосу, радостно ахнула, щелкнула крючком и открыла дверь, но, увидев еще одного, не знакомого ей человека, пятилась.

— Ничего, ничего, свои! — успокаивающе сказал Дресвянин, переступая порог. В сенях было темно, Надя забежала вперед, открыла дверь в свою комнату, и свет проник в узкие сенцы, уставленные фанерными ящиками и заваленные дровами.

— Опусти крючок! — приказал Дресвянин.

Лямзина, не задумываясь, исполнила приказание, потом, что-то сообразив, сказала:

— Я все равно сейчас побегу. Проходите, пожалуйста, пожалуйста, проходите! — При этом она все еще недоверчиво смотрела на незнакомого человека. Была она тоненькая, молоденькая, в легком ситцевом платице.

Гости прошли в комнату, осмотрелись. Две металлические кровати стояли одна против другой, занимая почти всю жилплощадь. Справа от входа громоздилась печка-плита. На кроватях лежали дешевые синенькие без узоров покрывала, обшитые с внешнего нижнего края самодельными кружевами, одна постель была смята. На подушках лежали тоже самодельные кружевные из суровых льняных ниток накладки. В одном углу висела иконка, стыдливо прикрытая полотном. Рядом с нею, вдоль передней стены, — цветные вышивки на прямоугольных коленкорных лоскутах: крестиком — краснощекая девушка с коричневой корзиной грибов, гладью — связка неестественно крупных цветов, похожая на банный веник. Между кроватями столик под клеенкой, два стула с боков. В углу за печкой висячий ярко выкрашенный шкафчик-посудник, в нем за стеклом тарелки, чайные чашки и граненые стопки-лафитнички.

— Пожалуйста, раздевайтесь! — захлопотала Лямзина. — Я прилегла, думала отдохнуть, да задремала. Простите, что у меня так... ну, уж простите!

Дресвянин и его дружок сняли пальто, Лямзина выхватила их из рук, повесила на спинку кровати.

— Садитесь, пожалуйста! А я мигом слетаю!

— Куда же ты слетаешь сейчас, уже все закрыто, — догадливо и осведомленно заявил Дресвянин, неторопливо усаживаясь к столу. — Садись, друг! — указал он рукой приятелю на другой стул напротив себя.

— Да уж я знаю куда, вы не беспокойтесь! — И Лямзина сдерну-

ла с гвоздика за печкой серый поношенный ватник, набросила его на плечи. — Я мигом.

— Вот что, Надя, бегать никуда не надо, — остановил ее Дресвянин. — Мы так, по-простецки, посидим, поговорим. Кто у тебя здесь за стенкой? Слышно, нет?

— Слышно, только сегодня никого дома нет.

— Тогда садись!

— Да что вы, я мигом!

— Ну, смотри, тебе виднее. Только мы тебя и так выслушаем.

Лямзина набросила еще на голову теплый платок и юркнула за дверь.

Дресвянин достал пачку «Беломорканала», вскрыл ее, предложил папиросу приятелю. Закурили оба. Пепел стали стряхивать в одну кучку на клеенку стола, куда положили и спичечный огарок.

— Надо этой женщине помочь, — сказал Дресвянин, откинувшись на стуле и пуская струю густого дыма прямо вверх, в потолок. — Работник она ценный, а муж попался не ахти какой, второй раз в тюрьме сидит. Пьет, сукин сын, много, меры не знает. Последний раз служил в Доме пионеров и отрезал кусок ковровой дорожки — на водку. Ковер кому-то сплавил, водку выпил, но дорожку нашли, отобрали.

— Вот кто-то погорел! — сочувственно сказал приятель.

— Конечно погорел! Впредь думать будет. А женщине помочь надо, она ни в чем не виновата, зря страдает. Людей из беды выручать надо. Если мы не будем выручать, кто же будет? Нас к этому положение обязывает. Да и на душе светлее, когда удастся для кого-нибудь сделать добро. Доброе дело — это, брат ты мой, всегда доброе дело! — Дресвянин развалился на стуле, левая рука его, с папиросой, лежала на столе, правую он положил навывтяжку поперек кровати, отчего на постели образовалась глубокая борозда. — Пуховая! — кивнул он приятелю и продолжал философствовать: — В чем, собственно, главное счастье в жизни? В том, чтобы делать добро людям, приносить им пользу. Так было, так есть и так будет всегда. Слово это — добро — конечно, не новое, но оно не стареет и поныне. Передовые члены общества и в прошлом считали своим первейшим долгом делать людям добро. Слышал ты о старой русской интеллигенции, о народниках, о разночинцах? Приносить пользу людям — отсюда и пошла революция. А нам, нынешним, как говорится, и сам бог велел. Мы — слуги народа. А народ — это люди. Значит, им и надо служить. Не вообще народу служить надо, а людям. Одному человеку помог — всему народу помог.

Приятель даже курить перестал и смотрел на Петра Петровича восторженно и немо: то в глаза ему, то в рот, когда Дресвянин говорил, то на левую руку с папиросой, которую он время от времени поднимал и подносил ко рту, чтобы затянуться, то на правую его руку, которая нет-нет да и ударяла по пуховику в такт словам, для вящей убедительности их.

— Вот, скажем, эта женщина, Надя, — продолжал Дресвянин. — Молодая еще, неопытная, а какая у нее трудная судьба. Она, конечно, простая, как говорится, баба, но настоящая русская женщина. Муж пьяница, второй раз попался, и за дело. А она, одинокая, ждет его, конечно, не дождетя. А придет он из тюрьмы, ее же бить станет, дескать, ты как тут себя вела, чем занималась? Виновата не виновата, а отвечать! Такую женщину пожалеть надо. Мы все — люди.

— Удивительный ты все-таки, Петр Петрович! — с чувством воскликнул приятель, когда Дресвянин раздумчиво замолчал. — Рассказываешь смешное что-нибудь — так животики надорвешь, а говоришь такое станешь — все рты пораскрывают. И то и другое в тебе есть.

— Вот так-то! — сказал Дресвянин и хлопнул рукой по пуховику, словно по трибуне. Докурив, он потушил окурки о клеенку и смял его.

Заскрипела входная дверь в сенцах, звякнул металлический крю-

чок, вошла Лямзина, раскрасневшаяся, как вышитая крестиком девушка на стенке, запыхавшаяся.

— Ой, простите меня, задержала, наверно! — заспешила она. Достала из-за пазухи бутылку «Московской», поставила ее на стол, стукнув доньшком, и, увидев пепел и окурочок на клеенке, всполошилась: — Ой, что же я наделала, простите меня, пепельницу забыла вам дать.

Не снимая ватника, она кинулась к шкафчику, принесла и поставила ближе к Дресвянину чайное блюдо, затем разделась и так же поспешно принесла на стол три граненых лафитничка, хлеб в ломтях, тарелку нарезанных огурцов, тарелку соленых рыжиков.

Пока она собирала на стол, гости молчали, а когда на столе появились и вилки, и три чайных ложечки, Дресвянин сказал:

— Я же тебя просил не бегать никуда, ничего не надо было, одни хлопоты, обошлись бы и без этого. Ну, разливай, коли так!

Лямзина сходила в сени, принесла к столу фанерный ящик, осторожно уселась на него, разлила водку.

— Уж не побрезгуйте, пожалуйста, моим угощением. Огурцы и рыжички свои, сама солила.

Выпили. Закусили. Дресвянин заговорил:

— Ну, рассказывай, Надя, что у тебя?

— Да ведь что рассказывать-то, вы про мое горе все знаете, — опять заробела Лямзина, глянув сбоку на незнакомого человека.

— Это Федор, мой друг, — сказал Дресвянин. — При нем можешь говорить все, не бойся, он тебе тоже добра хочет. О жизни своей расскажи.

— Ребятишек своих я отправила к бабушке в деревню, а то как бы жить стала...

— Разве у тебя дети есть? — удивился Дресвянин. — Такая молоденькая...

— Двое, как же. Вот стою на складе. Ревизия была не единожды, а все пока благополучно, ничего не настояла. Только вот мужа нет, а как вызволить его, не знаю.

— Зачем он тебе, он же пьяница?

— Пьяница, конечно, а все муж, какая-никакая опора.

— У него же одни кулаки на тебя...

Лямзина, кажется, обиделась:

— Ну зачем, Петр Петрович, об этом говорить, когда его теперь нет. Руки у него золотые, если он не пьяный. Лучшего столяра во всем районе не сыщешь. Недаром ведь его помордуют, помордуют, а опять берут на работу, да еще наперебой зовут. И человек он, если не выпьет, уважительный, ласковый. И ничего дурного на ум ему не идет. Ну, а выпьет, тогда уж все, тогда он за себя не отвечает.

— Чем же я могу помочь тебе, когда ты так говоришь? — спросил Дресвянин.

— А вы, Петр Петрович, всем можете помочь. Достаньте мне мужа.

Приятель Дресвянина улыбнулся, а сам он нахмурился, тогда нахмурился и приятель.

— То есть как достать мужа? Он же сидит.

— Сидит, но без суда сидит. Скоро полгода без суда сидит. А суд вот-вот будет. Дали бы ему условно, не сажали бы, я уж не знаю, что бы и сделала.

Дресвянин опять достал из кармана папиросы — одну взял себе, другую подал приятелю, зажег спичку. Закурил, подумал, сказал:

— Ну, милая моя, а законы?

Разговор ему пока не нравился, хотя он и предполагал, что Надя Лямзина будет просить его именно за мужа.

— А разве я против законов? — возразила Лямзина. — Я же по закону хочу, только бы вы посочувствовали, помогли бы. Ведь можно принудилочку по месту работы дать. Человек бы все понял.

— Да-а! — пустил дым под потолок Дресвянин.

И Лямзина вдруг испугалась, что сейчас он встанет и уйдет и ничем ей не поможет. Она вскочила с ящика, заволновалась, потом схватила бутылку, стала торопливо разливать остатки водки гостям: Дресвянину чуть-чуть больше, чем приятелю его, себе ни капельки.

— Уж простите, пожалуйста, опять я забылась, надо допивать, а я со своими разговорами. Извините уж!

Дресвянин смотрел не на водку, а на своего друга, его опять потянуло на философию.

— Видишь, о чем она говорит и чего хочет? — сказал он. — Как после таких разговоров помогать людям?.. Муж с ней и так и этак, мордует ее, а она все готова коврики ему подстилать.

— Что это вы о коврике говорите? — всполошилась Лямзина. — Если бы я знала что-нибудь о коврике, разве бы я позволила ему.

— Петр Петрович не о вашем коврике говорит! — поправил ее приятель Дресвянина, вожделенно глядя на посверкивающую водку.— Петр Петрович вообще о ковриках говорит. Для него это символ, это у него такая образная речь. Петр Петрович вам добра желает, а вы за мужа хлопочете.

— А как же мне за мужа не хлопотать? Он — муж! — простодушно удивилась Лямзина.

— Он же вас на улицу выбрасывал, на мороз? — возмутился приятель. — А вы что? А вы за него же голос подаете.

— Ну и что ж такого? Верно, бывало, я убежала от него. Так он же пьяница. Как напьется, так себя не помнит.

— А вам Петр Петрович добра желает.

— Да разве я не понимаю, я добра и хочу.

Дресвянин выпрямился на стуле, убрал руку с постели и обратился к приятелю:

— Вот и помогай русским женщинам! — и пояснил: — Некрасовские!

— Видишь! — упрекнул Лямзину и приятель.

— Ну, давай выпьем, что ли! — сказал Дресвянин.— Надя, налей и себе.

— Что вы, много ли тут осталось, выпейте вы, пожалуйста, а с меня довольно. Выпейте, пожалуйста!

Дресвянин с приятелем выпили и закусили.

Надя той порой прошла к шкафчику, словно за каким-то делом, а сама искоса посмотрелась в зеркало, поправила платочек на голове, прихорошилась и опять села к столу.

— Так что же я могу для тебя сделать, Надя? — опять спросил ее Дресвянин. — Чем я могу быть полезен тебе?

— Мне бы, Петр Петрович, чтобы условно дали, выпустили бы его. На днях суд будет.

— Я не суд и не прокурор, — самодовольно объяснил он ей. — Но ежели что, ты скажи. Мы тут подумаем.

Надя разлила остаток водки в две стопки и, понизив голос, заговорила:

— Вы бы только помогли мне, а с судьей я уж сама договорюсь.

Дресвянин повеселел:

— Это с кем, с Петуниным?

— С Петуниным.

— Смотри ты! Парень он молодой, это верно, но как же ты? —

И перед его глазами промелькнула невзрачная фигура судьи — низкорослого, толстоногого, бледного, с вечной папироской-гвоздиком в желтых зубах.

— Выпейте, пожалуйста! — стала просить Надя.

— Хорошо, мы выпьем, но ты уж говори до конца, как это ты с

судьей договоришься? Окрутила его, что ли? — И Дресвянин засмеялся, словно услышал хороший анекдот.

— С ним уж договорились, Петр Петрович! — еще тише сказала Надя.

— Уже готово, молодец девка!

— Не я договорилась, а только уж договорились.

— Рассказывай, рассказывай, не бойся. Ни меня, ни его не бойся. Он мой друг, все останется между нами.

Лямзина еще раз недоверчиво взглянула на дресвянинского друга, покосилась на двери, на стены и шепотом продолжала:

— Есть у судьи любовь, он к ней давно ходит, служит она на складе сторожихой, вот она с ним и договорилась.

— Ну-ну?

— А ей, Нюрке этой, я на водку дала десять рублей. «Ты, говорит, не сомневайся, как я захочу, так он все и сделает».

Услышав это, Дресвянин сначала расхохотался, а потом помрачнел:

— Ты сдурела, девонька! Еще скажешь, что судья взятки берет?

— Взятки он не берет, я этого не знаю, а только Нюрка мои десять рублей отдала ему, и он их взял, это им на водку нужно.

Приятель Дресвянина беспокойно заерзал на стуле. Дресвянин помрачнел еще больше.

— И что же он тебе обещал?

— Ничего он не обещал мне, он Нюрке обещал, а Нюрка моя знакомая.

— А с судьей ты не говорила?

— Что вы, как я буду с ним говорить? С ним Нюрка разговаривала.

Все замолчали. Нелепость услышанного казалась настолько очевидной, что Дресвянин не сразу нашелся что ответить. А помолчав, сказал, и в голосе его послышалось искреннее сочувствие:

— Вот что, Надя! Обманывает тебя эта твоя Нюрка. Мошенница она. Судью я хорошо знаю: он, конечно, никаких дел с ней не имеет. Обманывает она тебя и деньги с тебя за обман берет, зря ты ей доверилась.

— Вот уж не обманывает, Нюрка не обманывает! — горячо стала возражать Лямзина.

— Обманывает, верь моему слову.

— Не обманывает, она — моя подружка.

— Обманывает, говорю тебе!

— Нет, не обманывает! — упрямо повторяла Лямзина.

— И дел никаких он с ней не имеет, не до этого ему.

— И дела имеет! У них даже уговор такой есть: остановится судья на мосту, бросит окурки в реку, Нюрка уж знает, что он к ней идет, и скорехонько всех из своей сторожки выпроваживает.

Приятель Дресвянина заинтересовался:

— Хорошая баба, что ли? Красивая?

— Да нет, ничего такого, только судья давно к ней ходит.

— Зачем же он к ней будет ходить, к какой-то Нюрке, когда у него своя жена молодая и красивая?

Тупое упрямство на лице Лямзиной сменила скабрезная ехидца: ничего, дескать, вы мужики не можете понимать в таком деле.

— Да уж ходит — значит она, Нюрка, такая сладкая, знает чего-то... Умеет...

— Приворожила?

— Да уж приворожила! Она не первого привораживает. От Нюрки ни один мужчина не отступится. Только вы, пожалуйте, не выдавайте меня.

Дресвянин понял, что разубеждать Лямзину бесполезно, сколь ни

дико было то, во что она поверила. От фанатической убежденности ее повеяло такой нечистотой и таким невежеством, что он пожалел, что зашел сюда, пожалел и о своих тайных легкомысленных желаниях, с которыми только что смотрел на эту молоденькую, оказавшуюся без мужской защиты женщину. Но и жалко стало ее: было слишком явно, что она попала в руки мошенницы и, конечно, отдает ей свои трудовые гроши.

— Много ты передавала денег своей Нюрке? — спросил он.

— Только десять рублей, так это ж не Нюрке.

— Дура ты, Лямзина, вот кто ты! Как можно верить, что судья из-за каких-то десяти рублей будет рисковать своим положением. Я уж не говорю о совести. У нас тут все на виду. Да и когда ему ходить к какой-то Нюрке? Некогда! Понимаешь, некогда! Обманывает тебя Нюрка, а ты думаешь, что ты хитрая.

— Ничего я не думаю. Я знаю! Нюрке не одна я давала денег для судьи: и все получалось, все не зря.

— И много давали?

— Я только десять рублей дала, а про других не знаю.

Дресвянин опять замолчал, задумался, потом спросил:

— Часто он к ней ходит?

— Нет, не часто. А только ходит. Это все знают.

— Почему же я не знаю?

— Вам этого и знать не надо, Петр Петрович. И я вам ничего не говорила. Вы уж не подведите меня, Петр Петрович!

— Ладно, Надя, ты мне ничего не говорила, и я ничего не слышал. Обманывают тебя, зря только деньги свои бросаешь. Жалко мне тебя, невежественный ты человек и о людях плохо думаешь. Поверь мне, судья у нас не такой, да и ни один судья не решится на нечестное дело.

— А велика ли зарплата у них? На такую зарплату не разгуляешься.

— Дура ты, Надя, вот что я тебе скажу. Разве в зарплате дело. А давать начнешь — сама попадешься. Наверно, на складе у тебя уже концы с концами не сходятся?

— Что вы, Петр Петрович, я еще ни разу не попадалась.

— Ревизия, говоришь, была?

— Была не раз, ничего такого не нашли. Я не один год стою, а ни разу еще не настояла ни копейки.

— Жалко мне тебя, Надя. Ну мы пойдем. Может, что-нибудь и сделаю для тебя. Только не для мужа.

— Вы уж не выдавайте меня, Петр Петрович!

— Я сказал, что мне можешь доверять.

Дресвянин и его приятель поднялись одновременно. Встала и Лямзина. Она растерянно смотрела перед собой, не удерживала их и даже пальто им не подала.

Дресвянин думал не о судье, а о себе: городок маленький, все на виду, все друг друга знают в лицо. Ступишь не с той ноги — уже замечают, зайдешь к кому-то поздно вечером — уже думают: зачем зашел? Случайная оплошность — и наживешь неприятности, и тринадцать лет безупречной биографии пойдут на смарку. Пора менять район, пора уезжать отсюда!

— Да-а! Такие дела открываются! — шепотом сказал приятель, когда они вышли на улицу, на мороз.

Дресвянин поднял меховой воротник пальто и недовольно забурчал в воротник:

— Ничего не открывается! Чепуха все! Бабы сплетни! В такой атмосфере живут торговые работники, все друг друга подозревают, друг на друга наговаривают. Верить ни одному слову нельзя.

Приятель сник. А Дресвянин в этот вечер никому не рассказывал анекдотов.

В субботу выезжали на рыбалку. Удочки для зимнего лова конструировал и изготовлял майор Тихонов, заместитель райвоенкома, — его удочек хватало на всех. А дождевые черви были и у Дресвянина, и у второго секретаря райкома Чербунина, и у нарсудьи Петунина, и у райкомовского шофера Северцева.

Дресвянин еще осенью на своем приусадебном участке накопал червей полведра, засыпал их землей, прикрыл марлевыми тряпками и поставил в подполье, где у него всю зиму при постоянном электрическом освещении обитали и неслись куры. Для подкормки червей в ведро время от времени он подсыпал муки, подливал молока и поверх тряпки накладывал вываренный чай. Черви были бодрыми, жирными, красными, недостатка в них не ощущалось всю зиму. Уезжая на рыбалку, Дресвянин выносил ведро из подполья, разрывал землю и набирал червей в спичечные коробки — двух коробок хватало на любой клев, потому что по целому червяку на мормышку он никогда не насаживал, а рвал их на две и на три части. Так же поступали и другие.

В субботу перед рыбалкой старались никаких заседаний не назначать, работу заканчивали на несколько часов раньше обычного, ссылаясь на необходимость выехать в командировку, брали с собой по бутылке водки на каждого, кое-какую закуску — что жены приготовят — и исчезали на двух машинах на всю ночь и на воскресенье до позднего вечера. После вечерней зорьки на льду ночевали где-нибудь в деревне у знакомого рыбака-любителя, реже у председателя колхоза, либо на колхозной мельнице, в сторожке, — пропахшей насквозь и запыленной за много лет от пола до потолка мукой, — забросав весь пол сеном. Если вечерний лов был удачен, варили уху, а нет — обходились хозяйскими щами. Утром, еще до света, снова выходили на лед. Когда в субботу почему-либо выехать не удавалось, то ночь не спали, волнуясь и совещаясь, и выезжали часа в три, в четыре утра, а возвращались в райцентр в тот же день, но всегда очень поздно, почти к полуночи.

Илья Ефимович Твердохлебов относился к таким поездкам на рыбную ловлю с откровенной завистью, но сам участия в них не принимал. За все годы пребывания в районе он проплясал на льду лишь два выходных дня и совершенно отказался от этой радости после того, как во время второй поездки разыскивавший его по телефонам секретарь обкома от кого-то случайно узнал, где он находится, приказал послать за ним машину, привезти его на телефон и по телефону дал ему нагоняй: «Рыбку ловите? В мутной воде, наверно? А район остается без хозяина! Я вот тоже люблю охоту, а что будет, если я начну зайчиков гонять? Если не можете жить без рыбки, прикажите поставить на льду около своей лунки телефон, и не исчезайте неизвестно куда!..»

Впрочем, Чербунин и Дресвянин с товарищами уезжали на рыбалку не всегда ради одного удовольствия: иногда им хотелось поразговаривать друг с другом наедине, на безлюдье, о чем не решались разговаривать ни в кабинетах, ни на квартире. С этой именно целью и пригласил Дресвянин судью Петунина на очередную рыбную ловлю.

Новенький райисполкомовский «газик» подошел к квартире Чербунина, когда он, напялив на себя новые ватные брюки, пробовал натянуть на ноги то валенки с галошами, то резиновые сапоги: ни те, ни другие не налезали, потому что голенища и валенок и сапог были узки, а новые брюки толсты. При этом злился и чертыхался Чербунин сверх всякой меры, и жена его не показывалась с кухни, боясь, чтобы так называемый критический запал мужа не обернулся из-за чего-нибудь против нее.

Шофер Северцев вошел в дом, и Чербунин встретил его так, будто во всех бедах был виноват один он:

— Проклятие! Смотри, что делается: набухали в брюки ваты столько, что икры как бревна. Проходи, чего стоишь? Поддай мне ножницы!

Степан Северцев осмотрел комнату, нашел ножницы на столе и подал их Чербунину.

— А зачем вам ножницы? — спросил он.

— Распорю голенища.

— Валенки?

— Можно и у сапог.

— В сапогах будет холодно сегодня, Энгельс Иванович.

— Тогда валенки распорю.

— Жалко, Энгельс Иванович.

— Ехать надо, вот что. Ты почему не на своей машине?

— Наши обе в плохом состоянии. Мне сам Петр Петрович предложил исполкомовскую, новую. Доверяют.

Чербунин повертел ножницы в руках, взял валенки, примерился и сделал надрез на голенище с задней стороны. Северцев крикнул, как от боли. Чербунин увеличил разрез, намотал на ступню суконную портянку и с трудом, но всунул ногу в валенок.

— Вот так! — сказал он и притопнул ногой. То же самое он сделал и со вторым валенком.

— Не жалейте, Степан Сергеевич, — утешил он Северцева. — Валенки эти свой срок все равно отслужили, лет пять их ношу! — Успокаиваясь, он, как обычно, переходил в разговоре со своим шофером на «вы». — Дресвянин готов? Поезжайте за ним.

— Если вы готовы, Энгельс Иванович, поедemте вместе, они все ждут у Дресвянина.

Чербунин надел ватник, тоже новый, как брюки, натянул поверх ватника широкий кожаный реглан, на голову — шапку-ушанку, взял на плечо рыболовный ящик, спросил жену: «Саня, ты все положила?» — и, не дожидаясь ее ответа, вышел вслед за Северцевым.

Дресвянин, и Петунин, и майор Тихонов в полном обмундировании ждали их на дворе, не выходя из ограды, чтобы не показываться на глаза прохожим. Северцев ввел машину в ограду, Чербунин остался сидеть с водителем, трое уселись сзади, и машина спятилась на улицу.

— Тесновато, братцы! — сказал нарсудья.

— Ничего, не привыкать, — сказал Дресвянин, — надо только снять ватники, а то мы очень уж толсты все. А почему вы без ящика? — спросил он Петунина.

За Петунина ответил майор Тихонов:

— Хватит там ящичков. В прошлый раз мы пять штук карамельных притащили на лед из магазина, сидеть на них можно.

— Удочки? — спросил Чербунин, перегнувшись с переднего сиденья и взглянув на Тихонова.

— Самые модные, и мормышки собственного производства, сами в рот лезут, даже черви не потребуются.

— Без червей скучно будет, — заметил Чербунин. — Между прочим, я тоже обзавелся парочкой, инвалид один преподнес, сам, говорит, уже отрыбачил.

— Рыбалка — самое инвалидное дело, спорт пенсионеров, а он отрыбачил.

— Всякое случается.

Поехали в низовье реки, километров за тридцать от города, к мельнице, у которой уже сидели не раз. Дорога на первый взгляд казалась совершенно непроезжей для машин, в полях она после метели поднялась над снежным массивом и тянулась длинным бугром, в лесах, наоборот, походила на лоток шаропоезда. В лесу еще заметна была старая колея грузовиков, в полях — ничего, кроме санного следа, и «газик» пробирался по хребту дороги, как по горному кряжу: малейшая неосторожность — и колеса срывались в глубокий снег. Если бы

московские шоферы, всю жизнь гоняющие свои «ЗИЛы» и «Волги» по асфальту, подметенному и посыпанному песочком даже в зимнее время, и кичащиеся своим стажем, километражем и премиальными надбавками за безаварийную езду, хоть раз проехали по зимнему, или осеннему, или весеннему так называемому проселочному тракту от сельсовета до сельсовета, они бы узнали, почем фунт лиха, и не отосыпались бы с высокомерием к замызганному виду районных своих собратей и к их помятым, побитым, всегда нематым, грохочущим, но все-таки безотказным «газикам».

Районный шофер ничего не знает о механиках, о станциях технического обслуживания автомашин, о мойщиках и смазчиках. Он сам ремонтирует свою машину, сам достает — и налево и направо, когда как придется, — запасные части к ней, либо сам их вытачивает, выпиливает, выклепывает. Он часами лежит под брюхом автомобиля в снегу, либо в грязи, во дворе райкома, либо в поле — где беда застигнет, — и когда вылезает, продрогший, мокрый, на свет божий, то секретарь райкома или председатель райисполкома, а случается, и сам начальник районной милиции, уговаривают его выпить сто грамм согревающего, чтобы не простудился, не заболел.

— Золотая машина! — с восхищением сказал Северцев Степан Сергеевич о новом «ГАЗ-69», когда они выбрались за город, и включил дополнительно передний мост. — Сколько-то она, милая, прослужит здесь?

— Да, и дорожки золотые! — отозвался на это Чербунин. — Если бы посчитать, сколько новых машин, горючего, рабочего времени, сил угроблено, скажем, на одном только тракте от нас до железнодорожной станции! Всю дорогу за счет одного этого можно бы давно асфальтом залить. И главное — толк был бы, хлеб наш не пропадал бы, экономика бы многих районов не страдала.

После метелей не только дорога в полях вылезла на поверхность, взбугрились и выпучились лыжные колеи и даже следы лисиц и волков. Рыхлый снег выветрило, выдуло, а уплотнения остались. Лунки лисьей цепочки превратились в бугорки, и эти маленькие, уходящие в перспективу снежные столбики, поднявшиеся над белой целиной, издали напоминали ровные мраморные колонны в пустыне, на месте раскопок — остатки какого-то древнего сказочного города. Снежная целина на одуванах также уплотнилась и покрылась мраморными разводами, только не гладкими, а рельефными. Стоило выглянуть низко идущему над горизонтом солнцу, и рельефность белоснежного поля всем напоминала, конечно же, волны моря.

Ехали медленно, все время на двух дифферах, и все-таки иногда срывались в снег. Тогда Северцев включал понижение скоростей — демультипликатор, — и автомобиль с возросшей мощностью, рывками то вперед, то назад таранил снежные пласты, разгребал их буферами и медленно, с воем снова выбирался на твердую узкую хребтину пути.

Несколько раз приходилось всем вылезать из машины и толкать ее и раскачивать то вперед, то назад, как приказывал Северцев. Часто в дело шла лопата — без нее не выезжает из гаража ни один шофер.

Было весело всем, беспокоило лишь приближение сумерек: вдруг не удастся сегодня лески обмочить! Но до мельницы доехали раньше сумерек и еще успели, как говорят рыбаки, обловиться.

— Я воду сливать не буду, Энгельс Иванович, может быть, на ночевку в деревню поедем, — сказал Северцев, остановив машину над самым обрывом реки.

— Ничего не знаю, делайте что хотите! — бросил Чербунин, вытаскивая свой ящик и торопясь первым спуститься на лед.

Мельница была черная, старая, еще доколхозной постройки, и очень большая, под стать любой широкой реке. Чуть перекошенная от времени, но толстостенная, она закрывала собою и ветхую деревянную плотину и пруд и кустарник на другом берегу. Все рядом с ее массив-

ным черным срубом казалось маленьким, игрушечным. Так иногда в деревенской небогатой избе стоит громоздкая русская печь, занимающая не один, не два угла, а всю избу целиком от пола до потолка: куда ни повернешься — везде печь. Шума не было: мельница не работала — печь не топилась.

Первым опустил удочку в лунку майор Тихонов. Пониже мельницы и сбоку от нее, под самой плотиной, валялось несколько дощатых ящиков из-под конфет и отчетливо были видны старые лунки; около них снег расчищен, притоптан и пестрела разная рыбная мелочишка, главным образом вершковыи ершики, брошенные рыбаками и наполовину вмержшие в лед. Пока товарищи переговаривались, да шутили, да прикидывали, где кому лучше устроиться, Тихонов продолбил своей пешней три лунки, промерил глубину, накидал во все три пшениной каши для приманки и начал лов. меховые рукавицы на шнурке он повесил на шею, за голенище левого валенка засунул тряпицу, чтобы вытирать об нее слизь с рук, особенно после ершей, деревянную коробку с червями положил за пазуху, только бы не застывали. Настоящего рыбака было видно сразу. Тихонов же поймал и первого окунька.

— Обловился! Уже обловился! — завистливо заговорили товарищи, переставая шутить и усиленно работая пешнями.

А когда Тихонов вытянул и второго и третьего окуня, разговоры вовсе прекратились. слышно было только, как Чербунин сопит, распутывая узловатые лески подаренных ему инвалидом удочек, да на берегу шофер Северцев все еще возится около своей машины.

Дресвянин поймал серебристую сорожку, и на белом снегу, словно пятна крови, обозначились ее красные глаза и красные перышки. Петушин покосился на Дресвянина, поднял воротник, распустил уши у шапки, завязал шнурки под подбородком и еще больше согнулся на своем ящике из-под карамели. Скоро обловился и он.

На лед спустился Северцев. Увидев, что у майора Тихонова рыбы больше, чем у всех остальных, он начал долбить лед вблизи Тихонова.

— Удочку дадите, товарищ майор?

— Пожалуйста, хоть две, хоть три.

— С одной бы управиться!

Из-за стука прекратился клев и у Тихонова, но ненадолго. Стайка окуней подошла к нему снова, и он стал таскать по два сразу на два крючка.

— Колдун вы, что ли? — шутливо возмутился Северцев. — С поплавком ловите или без поплавка?

— С поплавком.

— И я с поплавком, а не клюет.

— Не нервничайте.

— Рыба же не знает, нервничаю я или нет. Какие у вас мормышки? Тихонов выбрал леску, показал мормышку.

— Странно, — удивился Северцев, — и у меня такие же.

— Хотите поменяться лунками?

— Неудобно, но давайте, на счастье.

Поменялись лунками, и опять: Тихонов таскает окунька за окуньком, Северцев — ничего.

— Что за дьявольщина!

— Надо руки вымыть, — посоветовал майор, — они у вас, наверно, бензином пропахли.

Северцев оставил удочки, сходил к машине за мылом, вымыл руки, сменил наживку и тоже стал таскать окуньков.

Тогда обиделся Чербунин:

— А со мной что происходит? У меня руки чистые.

— Это уже предмет для шуток, — засмеялся Тихонов. — Чистые ли?

— Ну, ну, полегче!

— Тогда подумайте сами, в чем дело. Покажите-ка ваших червей!

Чербунин достал спичечную коробку с червями, открыл ее. Майор взглянул и посоветовал:

— Попробуйте наживить вот этого, который покраснее других. Рыба любит красную наживку. Жаль, что у нас мотыля нет. И держите наживку у самого дна, да подергивайте ее время от времени.

— А прошлый раз вы говорили — на полметра от дна.

— Прошлый раз так, сегодня по-другому, я уже пробовал. Бывают случаи, когда рыба поднимается к самому льду, — пробовать надо. Чербунин пробовал и так и эдак, поймал одного ерша.

Поймал ерша и Тихонов.

— Кажется — все, комендант появился! — сказал он и со злобой кинул слизистый колючий вершок в сторону.— Проболтал я с вами...

Сумерки сгущались медленно, но неуклонно. Снеговые берега реки густо синели, лед, обнаженный кое-где ветрами, почернел, и сквозь него вода уже не проглядывалась.

Из упряма проторчали с удочками еще с полчаса, но безрезультатно, ловились одни мелкие ершики, и Тихонов подал команду:

— Кончаем! Судя по закату, погодка завтра будет рыбная. Пошли уху варить.

— Чертова ущица из трех хвостов! — проворчал Чербунин. — Хлебай уху, а рыба вверху.

А Дресвянин и Петунин были довольны своим уловом: у них в карамельном ящике лежало несколько красноперых сорожек и тонких серо-серебристых ельцов.

— И серебро, и золото, и кости будут. А в костях — вся сила! — ликовал Петр Петрович.

Решили в деревню не ездить, чтобы не терять понапрасну времени. Северцев завел машину и сгонял за ключом от мельничной сторожки. Из деревни вместе с ним приехал колхозный мельник — молодой бело-брысый парень с пустыми бесцветными глазами. Он приготовился ночевать с рыбаками, когда узнал от Северцева, что они — начальники, потому оделся в свою обычную мучную одежду: ватная куртка, брюки, кепка — все белое, все в муке.

— Зачем его взяли? — недовольно шепнул Северцеву Петр Петрович.

— Да ведь как? Он ответственный. И на выпивку надеется.

Парень, назвавшийся Митрофаном, открыл узкую, низкую дверь, заскрипевшую тяжело и ржаво, зажег в комнате-чулане висячую лампу, затопил печку. Белесые бревенчатые стены, дощатые козлы в углу вместо стола, два сосновых чурбака вместо табуретов, плакат на стене о выращивании льна-долгунца, пол, казавшийся земляным, настолько он был грязен, — все под толстым слоем мучной пыли, все белесое.

— Давно здесь не бывал, что ли? — спросил парня Дресвянин.

— Почти каждую ночь здесь провожу. И завтра с утра молоть буду — заказ от сельпо.

— Ну, ладно, а спать где будем?

— Сейчас все сделаю, аккуратненько, в лучшем виде. Чугунок потребуется?

— Потребуется. Уху будем варить.

— Все сделаю в лучшем виде! — повторил Митрофан.

Он старался. Поставил в печку чугунок с водой, где-то нашел картошки, луку, сам почистил рыбу, вымыл ее, опустил в чугунок.

— Ершиков я — нечищеными.

— Правильно! — одобрил Дресвянин.

— А лаврового не захватили?

Стали рыться в ящиках, в свертках. Чербунин нашел у себя и лавровый лист, и соль, и лук, и сырую картошку. У Тихонова оказалось еще больше всего.

— Бери, командуй! — подал он парню свертки.

— Рыбки у вас маловато, может, пошлем шофера в деревню? Мигом! — с надеждой взглянул на него Митрофан.

— Не надо, картошки наварим.

— Тоже дело!

Когда уха поспела, Митрофан кинул в чугунок несколько горячих угольков и спросил:

— Не подлить ли чего-нибудь для аромата?

— Чего? — не понял Чербунин.

— Очень это помогает. В лучшем виде получается, с затравочкой.

— Не понимаю!

— Надо, надо! — сказал Тихонов. — Митрофан дело знает. Сейчас все будет!

Он достал бутылку водки, наполнил пластмассовый стаканчик и передал Митрофану. Бесцветные глаза у мельника заискрились, он бережно принял стаканчик из рук в руки, понюхал его и с сожалением опрокинул в чугунок.

Ложки были у каждого своя. На столик постлали газету, нарезали хлеба. Съели уху, наварили картошки. Съели картошку. Съели весь лук. Съели весь хлеб. Выпили три бутылки. А разговора так и не получилось — помешал Митрофан. В ходу были одни дресвянинские хохмочки. Зато сам мельник в конце концов разговорился.

— Как тут у вас живется? — спросил Дресвянин, которому уже надоело смешить людей.

— Ничего, живем. Спротивляемся! — ответил парень.

Это заинтересовало.

— Чему? Водке?

— Нет, водка идет в лучшем виде — планам.

— Каким планам?

— Вашим.

— Ну давай, давай, раскачивайся.

— Я уже раскачался. Долго вы будете мешать людям работать?

— То есть как?

— Мы планируем одно, вы даете другое. Как в скороговорке: сшил колпак не по-колпаковски, надо колпак переколпаковать.

— Ты смотри, — удивился Чербунин, — на него водка не действует.

— Почему не действует? — не понял его Митрофан.

— Язык не заплетается. Мне бы, наверно, не выговорить про колпак. — Чербунин попробовал повторить фразу и сбился.

Попробовали повторить скороговорку и Дресвянин и Тихонов и тоже запутались. Засмеялись все, кроме Митрофана. Мельник даже не улыбнулся.

— Мы тоже запутались с этими планами, — сказал он. — Ну, нельзя самим шагу ступить! Неужели уж крестьяне никогда не выращивали ни хлеба, ни льна, ни картошки? Что ни год, что ни месяц — то новые указания сверху. А ведь на каждый чих не наздравствуешься. Обижаются люди!

— Слушай, Митрофан, мы все это знаем, — остановил его Чербунин.

А майор Тихонов решил растолковать мельнику, в чем он заблуждается.

— Революция, дорогой мой, затрагивает все сферы жизни. Она не завершена. Ею нужно руководить. Колхозы — дело новое...

— Чего новое? — удивился парень. — Я родился в колхозе, я вырос в колхозе. Это у вас новое — ракеты, атомные бомбы.

— Ракеты — правильно, это революция. Но солдат мы сначала обучаем строевому шагу, поворотам направо и налево.

— Это вы обучаете. А картошку сажать мы с детства научены сами, и рожь сеять, и горох. И знаем, почему они расти перестали. И почему луга кустарником заросли. И почему лес на поля наступает.

Вот они какие, поля наши стали, а в планах да в сводках все числятся в старых границах.

— Если вы все знаете, так что же вы? — возмущился майор Тихонов, считая, что одним этим вопросом прекращает спор. Но мельник не собирался прекращать спора.

— А навоз? А скот? — сказал он. Тогда вмешался Дресвянин:

— Поля стали малогабаритные, это верно. Вот я вам расскажу, как хозяйка обставляла новую малогабаритную квартиру. Пришла она в магазин, просит ночной горшок для детей. «Вам для малогабаритной или для нормальной?» — спрашивают ее. «А разве есть разница?» — «Для нормальной квартиры и горшок нормальный, а для малогабаритной у нас горшки специальные — ручка внутри!»

Опять засмеялись все, кроме парня. Митрофан выждал и сказал:

— Я вам тоже могу рассказать, только из жизни. Построили в нашем колхозе скотный двор. Вы его, наверно, знаете, он и сейчас — ничего. Пустили во двор коров. Навоз сначала сгребали в сторону — в один угол, в другой угол, потом совсем убирать перестали. Вывозить не на ком, лошадей не хватает, да и хозяина хорошего не было. И навели грязи во дворе, ворота не открываются. Накидают хвойных веток, надолго ли это, да и не сгребешь их. Доярки стали лазить в окна. А навозу все больше и больше, коровы уже рогами потолок задевают. Тогда кое-как вывели коров со двора и пустили вместо них телят, они ростом пониже. А навозу все прибывает. После телят пустили овец да свиней, а потом уже кур, потому что и свиньи под потолком не умещались. Весело? А поля стоят без навоза.

Действительно всем стало весело, смеялись с удовольствием, и майор Тихонов смеялся.

— Вот тебе и Митрофан! — сказал ему Чербунин, кивнув на парня. — А мы думаем, он только мучку мелет да водку пьет.

— Так что же вы-то? — снова стал допрашивать майор Митрофана. — Вы-то куда смотрите?

— Что же мы? А мы только и делаем, что поворачиваемся направо да налево, как в строю, шагистику осваиваем. Работать некогда. Поля сиротеют без навоза. Теперь и у колхозников во дворах навозу накопилось — деть некуда. Свои участки перенавожены до смерти, жир один. Возьмите все, пожалуйста, кроме благодарности ничего не будет. Сами бы рады вывезти куда-нибудь, да не на руках же его в поле носить.

— Вот тебе и Митрофан!

Перед сном мельник натаскал в сторожку сена, на котором, видимо, уже спали не раз, и рыбаки улеглись прямо на полу. Было тепло и душно. Приглушенно шумела вода под полом, возились и пищали крысы по углам. Судья Петунии то и дело вскрикивал: он боялся крыс. Однажды ему показалось, что крыса пробежала по его ногам. Петунин вскочил, надел валенки и больше не ложился. Поднялся и Дресвянин. Вдвоем они вышли на улицу.

Шум потоков с плотины ночью был слышен сильнее, чем днем, и, казалось, доносился с неба, где плыли облака, словно льдины в половодье, а луна и звезды представлялись отраженными в холодной вешней воде. Черные тени кустарников с высокого берега перекинулись через всю реку. Черный кубический «газик» издали походил на маленькую мельницу.

— Когда вы будете судить плотника Лямзина за кражу ковровой дорожки из Дома пионеров? — тихо спросил Дресвянин Петунина.

Петунин насторожился:

— А что?

— Можно ограничиться принудителкой?

— Не понимаю, почему это вас интересует?

— Можно или нельзя?

— А что?

- Я спрашиваю: можно или нельзя?
- Разобраться надо. У него уже была судимость.
- Ты обещал что-нибудь?

Петунин встревожился еще больше:

- Что я могу обещать заранее, кому?
- Обещал или не обещал?
- Я думаю, что годом можно ограничиться.
- А условно нельзя?

Петунин снял наброшенный на плечи ватник и надел его как следует, просунув руки в рукава.

- Понимаю! — сказал он.
- Чего ты понимаешь?
- Это Лямзина что-нибудь натрепала?
- Ничего Лямзина не натрепала. Самому трепаться не надо, здесь каждый шаг на виду.
- У меня руки чисты, мне бояться нечего.

Дресвянин заглянул в лицо Петунину — при свете луны оно показалось очень бледным — и спросил, неторопливо отдирая слово от слова:

- Ты о чем говоришь, понимаешь?
- А вы от меня чего хотите? На что намекаете?
- Ясно! — сказал Дресвянин и, отвернувшись от судьбы, стал внимательно рассматривать звездное темно-синее небо.

Задолго до рассвета все рыбаки вышли на лед. На небе уже не было ни луны, ни звезд, ни вешней воды, ни плывущих льдин. В темноте не сразу обнаруживали вчерашние лунки, пробивали новые. Пешнями долбили охотно, чтобы размяться и согреться. Майор Тихонов ходил от лунки к лунке, опускал то мормышки с наживкой, то блесны, пробовал ловить на разных глубинах — ничего не получалось.

— Рано еще, не надо нервничать, — успокаивал он и себя и других. — Рыба тоже поспать любит. Поторопились мы.

Оставив удочки в лунках, Тихонов сходил куда-то вниз по реке, за поворот, и вскоре вернулся с двумя желтопузыми налимами, не снятыми еще с крючков. Все бросились к нему.

— В чем дело? Откуда?

— Из воды! — довольный удачей, хитро посмеивался майор. — Я же вчера на ершиков поставил.

— Колдун, а не рыбак, — с восхищением и завистью говорил Чербунин. — Не днем, так ночью в мутной воде ловит.

— Стратегия и тактика, а не мутная вода причиной, — отбивался майор.

Он же первый опять начал ловить и на удочки. Поймав двух окуньков и плотвичку, он сам объявил:

— Попробуйте на мормышку без поплавка, со сторожком. И дразнить у самого дна.

1962 г.

Публикация Н. А. ЯШИНОЙ.

